

ГЕННАДИЙ СТАРОСТЕНКО

АЛЕКСЕЙ

*Зеркало
полюсичи*

БАЛАБАНОВ



Он был из тех *молодых творцов*, кому хотелось большего, хотелось *сильных кадров и потрясений*.

«Брат» и «Брат-2» стали народными фильмами, принесшими режиссеру мировую известность.

«Ты знаешь, что ты сыграла Россию?» — спросил однажды Балабанов у актрисы, исполнившей главную роль в «Грузе 200».

Дмитрий Витов: «Невероятный талант остро чувствовать время подарил Балабанову буквально кинобессмертие».

Встать за брата... Предать брата...

Геннадий Владимирович Старостенко Алексей Балабанов. Встать за брата... Предать брата... Серия «Зеркало памяти»

indd предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67779543

Геннадий Старостенко Алексей Балабанов. Встать за брата...

Предать брата....:

ISBN 978-5-17-147522-2

Аннотация

Серия фильмов «Брат», картины «Груз 200», «Война», «Жмурки», «Счастливые дни», «Про уродов и людей», «Кочегар», «Мне не больно»... Алексея Балабанова по праву можно назвать культовым отечественным режиссером. Ставший новым героем нашего времени для российского зрителя Данила Багров, стремящийся отыскать истину в переулках постсоветского Петербурга, ныне известен и за рубежом, а о кадрах безнадеги и ужаса провинции, развернувшихся в «Грузе 200», и поныне вспоминают с содроганием.

Пробивавшие зрителя на эмоции балабановские фильмы получали престижные кинонаграды, но осуждались и осуждаются за прямоту, неоднозначность, а порой и самую настоящую черноту. Встает вопрос: насколько объективным можно считать

взгляд Балабанова на постсоветскую эпоху и события, на которые и спустя десятилетия оглядываются не без страха?

Геннадий Старостенко – публицист, писатель, член Союза писателей России, знавший Алексея Балабанова со студенческих лет, – в своей книге «Алексей Балабанов. Встать за брата... Предать брата...» находит ответ на этот вопрос.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Содержание

Мои побуждения	7
...Мне очень плохо...	17
Все тот же Горький, но уже и Нижний – и дальше	38
Восьмидесятые – девяностые, период полураспада	53
Лехин груз	70
Война	75
В новом миллениуме	91
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Геннадий Старостенко Алексей Балабанов *Встать за брата...* *Предать брата...*

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Серия «Зеркало памяти»

© Геннадий Старостенко, текст, фото, 2022

© ООО «Издательство АСТ», оформление, 2022

* * *

Не просто культовый режиссер, мыслитель, мечтатель и проводник между эпохами. Невероятный

*талант остро чувствовать время подарил ему
буквально киновесмертие.*

Первый канал, 25.02.2019,

Дмитрий Витов

*Да, наверное, художник имеет право на ложь и
подлость, но и общество имеет право на защиту от
его лжи и подлости. Балабанов выполнял социальный
заказ правящей бюрократии – на опорочивание
Советского Союза, на превращение его в исчадие ада,
место, в котором невозможно существовать.*

Михаил Делягин

*Алексей Балабанов: ...в свое время я воровал водку из
холодильника Ельцина. Это было в Свердловске, когда
Ельцин занимал должность секретаря обкома партии.
Мой друг был мужем его дочери, поэтому я бывал у
них... Моя мама с ним дружила...*

«АиФ», 12.12.2012,

Сергей Грачев

Мои побуждения

Приступая к этой книжке воспоминаний и размышлений, я меньше всего думал о том, как воспримут мою личную правду об их герое те, чьим кумиром сделали его «большие СМИ», левиафаны телевидения, PR-агенты от кино, а равно идеологи от культуры. Или о том, например, что кто-то из моего поколения, с кем я бывал в дружбе, осудит меня и посчитает предателем памяти светлых юношеских дней. Еще менее способен привести меня в замешательство осиный рой кинокритиков и киноведов, который я, возможно, разворошу этой публикацией. Или самостийных киноблогеров «от черной кости» и без аккредитаций, втершихся локтями в эти почтенные гильдии.

О творчестве режиссера Алексея Балабанова говорили, писали, снимали документальные фильмы и многие из тех, что стали более близкими ему, чем я, в его творческие годы. А равно и мэтры в профессии, что готовы уподобить киноведение едва ли не познаниям в квантовой механике, с ними и несметное число ценителей кино, что через большую губу всегда готовы разделить это мнение. Но ведь и я не был ему чужим когда-то, и у меня был опыт пребывания в соседстве с его экзистенцией, и мне есть что сказать о нем. Более того, я убежден, что имею право поведать в этом своем «экспозе» нечто важное, что и составило среди прочего существо его

творчества, оцениваемого знатоками как прорывное и авангардное – с небольшими экивоками в сторону паранормальности. А если уж и признавать, что он нес в своем творчестве отражение эпохи, то как тут не перекинуть в наше социально-культурное житье-бытье ряд критических проекций...

И сделаю я это не с позиций сермяжного морализаторства и традиционалистского «косномыслия», не разбрызгивая окрест ядовитую слюну осуждения, а по возможности сдержанно – хотя и без пиетета. Пусть другие пускают восторженную пену. В общем, *sine irae et studio* – без гнева и пристрастия. (Ведь и сам он, Леша, перед уходом покаялся за сотворенное, тем призывая сдержанно оценивать его работы в кино, а это большое дело.) Опять же – по возможности, потому что до конца беспристрастным быть не получится. Попутно же попрошу наперед прощения и за то, что где-то буду небрежен в терминах и понятиях. Я не ученый и не киновед, и взгляд мой небеспристрастен.

И главное – это ни в малейшей мере не будет голым критиканством или ритуальным танцем у поверженного льва отечественного киноискусства. И мне его искренне жаль, так рано ушедшего. Ведь и помню я его не Алексеем Октябриновичем, не мэтром артхаусного кино, не «проводником между эпохами», а просто Лехой. Лешей Балабановым. И чем дальше, тем сочувственней, а лучше сказать, сострадательней и мое отношение к нему, в конце жизни осознавшему безмерную силу и правду рока, который его преследовал. Прозрев-

шему в своих натужных дерзких аспирациях и заблуждениях – и словно пришедшему в гоголевский ужас от содеянного. И пытавшемся таки найти спасение и выйти из долгого пике, в которое его бросала собственная природная метафизика и обстоятельства той чудовищной силы, которую принято называть *force majeure*. Сказавшему о себе в конце: *плохое кино снимал...*

Поэтому я и скажу о нем свое – как вижу, с колоколенки личного опыта и понимания кино как искусства. Попутно что-то расскажу и о себе, о своем мировидении – без этого просто рассказа не будет. Ведь, говоря о других, мы невольно рассказываем и о себе. *Смотрите – вот он, мой ракурс*. Еще раз: не побоюсь и осуждений со стороны кого-то из своих старых друзей и приятелей по студенческим временам: *Что же ты вздумал катить на него... и не потому ли, что он тебе и ответить уже не сможет?*

Оспарю: да – сам не сможет, но есть немалое число адептов его творчества, которым всякое посягательство на память кумира покажется прямым оскорблением, и за перчаткой дело не стало бы. И еще я должен напомнить, что моя публикация о нем («Лехин груз»), вышедшая в конце лета 2013-го в «Литературной газете», была не первой. Первая моя критическая статья о нем и о его работах в кино вышла в «Литературной России» 31 августа 2007 года.

Тогда режиссер Балабанов был жив и процветал, почти здоров и увенчан славой, благами и почитанием поклонни-

ков. Если бы не скромный формат «литроссии», то можно было бы говорить, что той резко непримиримой статьёй, дерзнув рассказать нелицеприятную правду, я бросил вызов и ему самому, и мнимостям, которые он порождал. Статья так и называлась – «Пожалейте Леху Балабанова». Это название вполне подошло и моей книжке о нем. И осыпать автора этой книжки упреками в том, что он-де пинал и пинает «мертвого льва», несправедливо.

Истолкую, в меру отпущенного мне зрения, феномен, им самим же названный в конце жизни «плохое кино режиссера Балабанова». Мне очень важно это сделать, ведь есть вещи, о которых нужно рассказать людям. Иначе многое останется необъясненным, а люди будут обмануты разглагольствованиями о мнимых сущностях. И если надо все же сказать, что среди иного прочего движителями его творчества и культа стали, с одной стороны, его тяжкий недуг, о котором умалчивают, а с другой стороны, покровительство особого рода, то так и скажу. Больной его мозг особо трепанировать не буду – но что-то в его психологии и личностной ауре постараюсь прояснить.

И сделаю это с позиции русского человека и публициста. Ведь именно таким я и был все эти долгие десятилетия, уйдя в 92-м из международной журналистики в Агентстве печати «Новости» на скудные хлеба фриланса и находя пристанище то в первом прохановском «Дне», то в «Советской России», то в «Литературной газете», когда в ней оставалось местечко

протесту. В газетах и журналах литературного цикла.

Ведь не только у нас, где фигуру режиссера Балабанова сделали предметом культа, но и за границей, где его творчество обретает осанну академического толкования, он уже включен в разного рода мемы, идеологемы и общественно-культурные конструкции. «За бугром» он вовлекается в русло традиционной русопатии, как того требует давняя доктрина «извечных патологий» Матушки России (и это стоит отдельной главы). А здесь нередко работает на раздувание «фобий» по другим адресам...

Среди прочего мне бы хотелось донести к анализу и вот какое соображение. Так уж случилось, что вопреки уверениям самого Алексея Балабанова – в том, что его режиссерское амплуа абсолютно аполитично и сам он от политики далек, – многие его фильмы прочно встроены в идейное оснащение постсоветской эпохи. Он тоном, стилем, ритмами, смыслами и пафосом вполне совпал с той плеядой творцов и пропагандистов от «русской партии», что, отрицая на корню все советское, рвала исторический континуум страны и прерывала ее естественное развитие. В порыве ли отмщения «совдепии» за жуткие ее грехи перед народом русским, личной ли корысти потакая – но с неизменными проклятиями вдогонку всем семидесяти годам советской власти и словно боясь подразделить эти десятилетия на составляющие эпохи, порою и взаимоотрицающие по сути.

Да что там, образ «благородного киллера» Данилы Багро-

ва стал культурным манифестом «новорусского племени». А летящий с рекламки «Груза 200» в зрителя-читателя кулак с татуировкой «СССР» на маклышках и стал символом лехиного проклятья всему советскому. О сложном ведь просто в кино не расскажешь. А нужно просто – и чтоб пугало, и за нерв цепляло. С погружением «в детали», с живыми и страшными картинками. Ну, а там, в деталях, черти и сидят недреманно. И об этом я тоже постараюсь рассказать в меру понимания.

Почему – «пожалейте»? Не попытка ли это унижить ушедшего из жизни доверительным обращением к читателю? Еще раз – нет. Нет задачи унижить, есть задача рассказать. Объяснить – чтобы поняли. Кто-то сочтет, что не вполне корректно давать такое название книжке о человеке, которого считал когда-то своим другом. Но ведь он же и сам не побоялся обнажить перед всеми свою боль, прокричав: «Я тоже хочу»... В каком-то смысле – это попытка крикнуть ему в ответ: *Я слышу тебя, Леша... и по-настоящему жалею... пытаюсь понять...*

Да ведь Лешу Балабанова и стоит пожалеть, состраданием оградив от мнимостей, поскольку и сегодня его память осеняют неправды и ложные толкования. Он был и простым, и посложнее, и лукавым, и пытливым, и надменным, и открытым – разным, а глубоко внутри – обиженным ребенком. И обижаться было за что на судьбу...

И скажу обо всем – как тот, кому хочется видеть свою

страну не в пустоте духовной, не в хаосе расчеловечивания, а на пути к социальной гармонии, чтоб *и мир на земли, и благоволение во человецех*. Как человек, пытавшийся сблизить левопатриотическую идею с правой, а там и призвать в союз здоровую часть либеральной (хотя бы и с нулевым результатом). Кто и в близком по духу традиционализме примечает пороки. Кто и в либерализме не видел бы беды, когда бы в нем все шло от чистого сердца и без примеси лицемерия. Кто понимает, что наднациональное всегда берет истоки в национальном. Что мысль и чувство тем сильнее, чем ближе они к природе – и дальше от цинизма и безверия, схоластики и метафизики бетономешалок-мегаполисов.

Скажу как человек, буквально за день до смерти Алексея Балабанова в мае 2013-го бравший интервью у академика Игоря Шафаревича, одного из подвижников национальной мысли, пусть и ошибавшегося в чем-то. Было это накануне 90-летия последнего. Кто не знает – замечательного математика, посрамленного когда-то за национализм мировым научным сообществом, впрочем, оставшегося автором учебников математики, издающихся за границей и поныне. Того самого, кто Сталинскую премию за достижения в математике получил еще в двадцать с небольшим, а в 60-е ушел в социологию и русскую идею. Кто и эпоху равенства осуждал за ее грехи и беды – но и не терзал своей истории, упрощая понимание и разобщая двуногих цепкими киногошталтами, как это все же делал в суетной простоте Леша Балабанов.

И это ни в малой степени не будет воплем зависти или потрясанием кулаком плебейского морализма, далекого от понимания прорывной эстетики кинопоиска. Вовсе нет, могу сказать что-то и на равных. В конце 80-х – начале 90-х, работая в АПН, тоже занимался документальным кино и был редактором документальных фильмов о Достоевском, Пастернаке, Шостаковиче. А Балабанов и учился на документалиста, и в игровом кино его стиль многие называют метадокументальным. Выходит, нас с ним что-то связывало не только в студенчестве и в десятилетие после него, но и в последующем – пусть и опосредованно.

На этих рубежах, когда стараниями умельцев по декультурации и кризисному менеджменту кормящего плебса моя страна в который раз уже теряет понимание добра и зла, нет никакого смысла быть излишне щепетильным и трепетно-совестливым. Играть в интеллигентское сверхблагородство и неуместно, и непродуктивно. Вот и пришло время сказать начистоту – как оно есть, как оно было и как оно того заслуживает. Без интеллигентских ужимок и многозначительных недомолвок. Экивоки в сторону. Благородная поза чего-то и стоила бы, когда бы очень многие из нас не были погружены в гнилое болото цинизма и общего раздрая в человеческих отношениях. И тот, о ком пойдет речь ниже (будь он в чем-то инструмент в чужих руках или свободный художник, мастер артхаусного кино, действовавший из побуждений искусства, по зову ли болезни, в башенке из слоновой кости), тоже при-

ложил свою руку к появлению этого «чудесного феномена».

От природы он не был ни злобным, ни циничным, ни мстительным, ни тенденциозным (если говорить о творческой энергетике). Как не было в его психическом складе и агрессии – ни тайной, ни тем более открытой. На экспансию своего «я» его местами пробивало – но больше от игры, от рисовки, чем от природы. Дальше – не знаю, но в молодости у него не было ни врагов, ни явных недоброжелателей. Думаю, тот его случай с утратой передних зубов на выпускном – скорее, исключение. Напротив, людей к нему влекла открытость его нрава – на фоне резко очерченной личностной ауры. Впрочем, случались периоды, когда он словно становился каким-то потерянным и занудным – а то и болезненно маргинальненьким до нытья. Но это вдруг взрывалось в нем помимо его воли, потом проходило.

Я говорю о первой половине его жизни – с небольшим прихватом второй, пока мы были дружны. Потом случилось что-то, что развело нас в стороны. Раз – и оборвалось, и так стало легче. Чего тяготиться-то старой дружбой, с виду еще твердой вчера – и вдруг рассыпавшейся в труху...

Это был сознательный выбор... от понимания, что мы по-разному устроены, мы с разных полюсов видим мир и вообще на разных сторонах событий. Возникло взаимное недоверие. Это было где-то на финальном тяжком вздохе перестройки, на ее последнем издыхании. Но были и те, с кем он

ничуть не разошелся в экзистенции и с кем приятельствовал до последнего звонка. Таким, к примеру, был Кирилл Мазур, как и сам он, выпускник переводческого факультета нашего иняза 1981 года. Должно быть, тот был более близким ему по духу человеком, чем я. А наша дружба с определенного момента «врозь пошла», как любили сказать в поколениях задолго до нашего.

Но странное дело – осталось чувство, что я знал его до конца. До самого мая 2013 года, ставшего последним в его жизни и в который уже раз роковым для России. Долгие годы я хранил его письма, кажется, два или три – но хранил небрежно. Осталось только одно, в котором он, студент последнего курса горьковского иняза (тогда еще был город Горький), с тоской вспоминал год предшествовавший. Между нами была разница в целый курс. Меня уже в Горьком-Нижнем не было, и щенячья радость общения с друзьями в инязовской общаге сменилась суровым бытом офицерского общежития в Калининe со стенами в зеленую масляную краску. (Да... вот и этому чудному городку давно уже скрутили вывеску, ухватив название за козлиную бороденку. Теперь это снова Тверь. Мне же он почему-то помнится Калининым.)

...Мне очень плохо...

Итак, явление в кинематографе, ныне возведенное на пьедестал и недосыгаемо отдалившее нас от того, кого я знал всегда как Леху Балабанова, мне трудно воспринимать иначе, чем сквозь призму города Горького. То есть, конечно же, можно вполне обойтись и без призмы, но мне это важно – и это не прихоть. Я совершенно не знал его в Свердловске-Екатеринбурге, откуда он был родом, дважды он бывал в Калининe, где я служил после института, с полдюжины раз помню его по Москве, никогда не встречался с ним в Ленинграде-Питере. (Что-то рассказывали о нем друзья, сохранявшие с ним приятельскую связь. Например, Женя Васильев, переквалифицировавшийся из партработника в рестораторы, – с ним я учился когда-то в одной группе. Высокорослый спортивный парень, волейболист, он жил в Питере – и ушел из жизни так же неожиданно рано, от хронических переработок и стрессов. Или, скажем, Саша Артцвенко, не терявший с Лешей дружбы. Из жизни вообще ушел раньше других из той инязовской плеяды. Все искал себя – и не находил.) И потому вся его личностная метафизика невольно связывается в сознании с этим звучным, природно-ландшафтным и обрамленным реками городом-миллионником на Волге – с Горьким – Нижним Новгородом.

Городом особенным – способным творить в своей кузни-

це душ и спасителей России и великих художников, и малых, и пустых фанфаронов, и честных простолюдян (очень люблю это чуть укороченное словцо, не считите просто ошибкой. – *Прим. авт.*), ничем не прославленных: от рабочей кисти до рядовой служилой интеллигенции. Мнится мне, что эта кузница душ с неведомым древнерусским Гефестом утана где-то глубоко внутри земли в нагорной части Нижнего, издревле задававшей масштаб и природной натуре, и человеческой. На высоком правом окском берегу – где-то в недрах земных за парком «Швейцария» или под старыми городскими кладбищами.

А в основание этого окающего вместилища страстей на пяти берегах двух рек, под самой этой вымышленной мною кузницей, дух города вмонтировал три замечательных слова: «Эх, ай-яй», «чай» (от слова «чаять» – *Я, чай, не пошла бы туда*) и «уделать». Первое – междометие, в нем заключено какое-то невероятно искреннее удивление. В других городах вы редко его услышите. Второе все хотелось в детстве связать с чаем как напитком. И третье, понятное дело, глагол – но это не то, что приходит на ум сегодня. Первые смыслы глагола устарели и сузились, и большинству его значение теперь представляется чем-то вроде «изгадить», «испортить», «избить». А раньше это слово всегда значило другое – «сделать», «поправить». Только древнему нижегородцу казалось лаконичней начинать слово с гласной. *Оставь эту вещьцу, завтра уделаю...* Многие в этом городе так и любят сказать

– именно в значении «сделать».

Меня он всегда потрясал, этот город. Реками и ландшафтами. Сползающим с горы Кремлем, огромными пролетарскими районами с цехами-гигантами, дальним автозаводским парком, парашютной вышкой в нем, Радиусным домом и автозаводским Дворцом культуры, Канавином и Стрелкой – соитием двух рек. Сенной площадью, трамплином, монастырскими Печерами, улицами Минина, Белинского, Варваркой, Бекетова, десятками других, и подальше – местом сахаровской ссылки в Щербинках. Конечно же, центральными нагорными ландшафтами с дворянскими особнячками, стильными вполне домами купцов и мещан – кирпичный низ, бревенчатый верх.

Когда смотришь снизу, с реки на коренной берег, на Кремль или уходящие от него старинные дома-особняки, невольно называешь его «градом». Он и есть Град на холме. Неслучайно – и не единожды – провозглашался столицей русской архитектуры. Город этот так хорош в ландшафтном смысле, что кажется, что даже и хищный и безликий урбанизм, едва ли не ставший опошлением своей собственной протоидеи (пятиэтажки), не способен его серьезно испортить.

Но чтобы это все почувствовать, чтобы воссоздавать его взором памяти, нужно быть созерцателем. Был ли им Леша Балабанов? Я до сих пор не уверен. Он был из иного теста. Убежден, что ему было интересней не созерцать, не любо-

ваться и не впечатляться душевно, а рассматривать и под-
сматривать. Родом из другого большого города – с какой-ни-
какой, но все же столицы Урала, что, пожалуй, посуровей
Нижнего, но даже и подинамичней своим сквозняком из от-
крытого окна в Сибирь, – Леша внутренним зрением, тре-
тьим оком своим прищуренным мерил все тутошнее свысо-
ка или поверху. Пусть даже и любя возвращаться к нему. Так
мне казалось.

Было ли это его врожденным даром или семейным (как
отпрыска известного киношника со Свердловской киносту-
дии и влиятельной мамы, командовавшей институтом курор-
тологии), на вещи он смотрел критично, сказать ближе, оце-
ниваяюще, ехидненько иногда – с прищуром. Словно готовясь
воплотить это свойство свое в будущей профессии. Пример-
иваясь к операторскому окуляру.

Нет, он не был созерцателем, он был скорее наблюдате-
лем, любившим фрагментарное, любившим мельчить и дро-
бить. Тогда он еще не «просек», что крупный план – всему
голова. Характер имел, как и большинство из нас тогдаш-
них, вполне беспечный, а ум аналитический, но легкий и
неинтровертный, способный быстро сфокусировать, навести
на резкость и тут же ее сбросить. Когда хотел – бывал и за-
водилой, и душой компании. Легкий, худенький, скорый –
и в части юмора живой и прицельный. Однажды я писал:
«Алексей Октябринович был хитроглаз и кикимороват – и
студизусом был неординарным. Нрава нескучного и в об-

щем довольно подвижного, но временами становился занудой – просто каким-то метафизическим нытиком».

Леша Балабанов был городское дитя. Бесконфликтный, но охочий на подначки, отнюдь не мачо, он все же мог держать инициативу в компаниях, где ценили новомодные веяния и резвились от студенческой души. А в общем он еще тогда избегал всего тривиального и скучного, безыскусной канвы бытия. Чурался деревенского убожества, любил Америку и все прогрессивно-заграничное. Интеллигентски проказлив, мог совершить и неприличную выходку – но опять же не со зла, а от скуки, от экзистенциальной пустоты, – до недомоганий духа было еще далеко.

Его сокурсники и ребята инязовская годом выше или ниже его всегда готовы были рассказать историю-другую в его честь – а то и в срам. Где-то бесшабашно-веселую, а где и с пощечиной общественному мнению, шокирующую.

Кажется, Тимур Кадыров любил напомнить приятелям старую байку... Все готовятся к празднику, Балабанов звонит друзьям в общагу: – Водки купили? – Купили. – Много? – Много. – Купите еще! – наставительно кричит в трубку...

Не подумайте – Лешка не напивался в стельку, но увеселяться «беленькой» всегда любил, мензуря ее мелкими дозами и продолжительно. Если вспоминать, то жизнь студенческая – это вообще все не про учебу, а больше про увеселения. Сплошная поэзия вагантов. Ведь помнится-то не зубрежка,

не школярство, а беготня с друзьями в поисках впечатлений.

Да и не технический же вуз, где нужно вникать в логику процессов и формулы учить. Тут даже если не учил, то можно по ассоциации, заболтать и тему, и рему. Лингвистика – вообще дело попугайское. Перенимай, что слышал или прочитал. Да и вымысел – дело похвальное, творческий процесс. А в педагогах больше женщины – многие по-матерински снисходительны, пусть даже и встречаются стервозины. На переводческий фемин тогда в студенты не принимали – вот уж дискрим-то, такое и помыслить сегодня невозможно.

Но если бы мне тогдашнему предложили сказать, кто из парней его окружения, включая и его самого, способен чего-то достичь (и тем более в искусствах), мой выбор пал бы на других. Да – я знал от Леша, что отец у него руководил объединением научно-популярных фильмов на Свердловской киностудии, он не скрывал своего интереса к истории кино, особенно американского, но и воображение не рисовало мне его будущности в кинематографе.

Он вовсе не был изначально великим правдолюбом, каким его теперь рисует и кондово-русская, и околкиношно-либеральная молва (за те фразы его героев, что теперь нарасхват по любому случаю). Мог и слукавить – и по нужде, боясь неприятностей, и в запале, поскольку любил покричать самовыражаясь – с подкавычинкой, не отличался и обязательностью. Но велики ли то грехи для студента?

Мужской статью Леша не блистал и сдачи дать не умел.

Так ведь и те, кто умеет, как правило, не сильно одарены воображением, с другой стороны. Но интеллектуально боязливым не был, а ведь этот вид трусости в масштабе нации бывает пострашней. Он был проказник и мастер учудить какой-нибудь моветончик, мог и постоять за себя – но только не руками. Но то ведь в наших глазах было и плюсом скорее – отражением его интеллигентности природной.

Суровых в простоте и задиристых, скажем, сормовчан, как раз и способных махать кулаками, в городе вполне хватало. Мы их прозывали «пирожками». У тех было в моде ношение зимних шапок покроя «пирожком» – что-то вроде высокой пилотки из меха. Такие, кажется, в те времена носили члены политбюро, взгромождаясь на ленинскую усыпальницу у Кремля. У вождей они как будто были из пыжика, теленка северного оленя, а из какого зверья у простолюдын – не знаю, но считались верхом признания и приличий.

Отдельная тема – «винил». Название пришло потом и было еще притянута за уши в его черной комедии лубочной, в «Жмурках». Если не было придумано самим Балабановым, то скорее всего родилось в недрах творческой исполнительской «тусни». Тогда, в 70-е, мы этого так не называли, просто диски – и все. Диски или пласты. Да и не могли мы это так назвать, потому что для многих оно было свято. («Винил» – это уже презрительно, ретроспективно.) *Cum respectum* – даже у тех, кто в музыке ничего не смыслил и не чувствовал. Ни в классической, ни в роке, ни в какой. Объясню – поче-

му...

На третьем или четвертом курсе часть студентов переводческого факультета (еще раз: в те годы на нашем «факе» торжествовал строжайший сексизм и принимали исключительно парней) ежегодно отъезжала в Англию на стажировку. На пару ли месяцев или на полгода – не вспомню точно. Все они привозили оттуда (помимо джинсов «левайс» или «вранглер», сигарет «филипп-моррис», «покетбуков» с броскими глянцевыми обложками или тихой сапой какого-нибудь Солженицына между «мальборо» и «кэмел») еще и кучу пластинок рок-музыки. В моей английской группе из девяти парней не было ни одного, кроме меня, с начальным музыкальным – как не было ни у кого и малейших любительских навыков музыканта или продвинутого меломана. Но каждый из троих избранников судьбы привез из проклинаемого Запада в Страну Советов полчемодана рока. По большей части это были подержанные, хоть и не сильно заигранные диски, но частью и новенькие.

Неизменные The Beatles, Deep Purple, Pink Floyd, Uriah Heep, The Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival, Elton John, Genesis, Alan Parson, ELO – и прочая всячина, включая «квинов». Точно помню, что джаз или кантри не были в чести и не имели приличной цены, разве что на кассетах привозили – они только появляться стали. Молодежь «торчала» от громких имен, ярких музыкальных ходов, дивного аранжимента, загадочных для нас советских в своем драма-

тизме текстов. Что-то реализовалось у «фарцы», а что-то за-пиливалось до треска на плохой игле в родной общаге.

Такое повторялось из года в год, и пусть на стажировку за границу ездило не более трети студенческой группы (как правило, отличники и комсомольские активисты), но и одно это обстоятельство служило большим стимулом к поступлению на переводческий факультет. Мы были закрытой и нравственно стерильной страной, и внешний мир манил нас несказанно.

Так что «винил» – это уже пришло потом, спустя много лет, не без креативных стараний, возможно, и самого Балабанова. И смещало уже смыслы в сторону обобщения, для дезигнации явления уже постфактум. Редкий случай – повторяюсь... называть это все «винилом» и язык не повернулся бы.

Да и в «Жмурках» не обошлось без неправды: не предавались новорусские «бандюки» и убийцы из поганых 90-х подобным восторгам – с непредсказуемым пробуждением, по мысли автора кино, зачатков человечности – при виде грампластинок с рок-музыкой. Вот и у этих, смотрите, было что-то святое в душе, человеческое – указывал тонким пальцем автор кино. Хотя и можно было предположить вначале, что в этом был элемент авторской самоиронии.

Привозил тогда рок-музыку, конечно же, и сам Леша Балабанов – и с упоением ее слушал и давал слушать другим. Впрочем, не только ее, проказник... Пашка Солдатов, мой

одногруппник, рассказывал (а тут и Дима Науменко, один из наших, напомнил мне про это), как из Англии Балабанов привез много цветных презервативов. Надувал их и дарил на волжском Откосе прохожим. Зачем он это делал? Возможно, и не без резона, готов предположить, так бы вели себя сегодня те, кто недалек от статуса золотой молодежи. Хотя я бы рассудил и проще... так – озорничал, черта характера...

Солдатов шагнул в небытие вслед за Балабановым, буквально через год после него, словно по эстафете. Харон его забрал безвестным, и я восполню это упущение богов буквально в нескольких абзацах. Сам Павел был из Ворошиловграда (городу не раз меняли и название, и национальность), а распределили его потом на ВАЗ в Тольятти, где он с ходу овладел еще и третьим языком, итальянским. В дорогу я подарил ему неплохой учебник итальянского. Крепил международные связи предприятия несколько десятилетий. Был кладезем смешных баек и воспоминаний.

Например, такое... из английского юмора... Идет Пашка по городу с каким-то английским спецом, мастером похохмить и подначить. Среди «нагличан» оригиналов немало. И тот, заметив общественный туалет, предлагает: Paul, would you like to take a leak? (Выражение идиоматическое, букв. «дать течь» – иначе, «сходить по малому».) Пашка отвечает: No, thanks a million. (Миллион спасибо.) А тот ему вальяжно так, через губу, шекспировски: Why a million? Just one ordinary leak... (Намеренно оставляю концовку без перевода –

дабы не испортить впечатление, чтобы читатель сам порылся в забытом школьном английском, тогда и анекдотец этот выйдет ярче.)

Я приезжал к ним с Танькой, родившей ему дочь и сына, и мы долго и до одури с ним спорили под курево и пиво (от чего я уже давно и напрочь отказался, прокляв табак как главный разрушитель здоровья). Он все никак не мог понять, с чего же я так неисправимо коснею в ретроградской грусти по эпохе несвобод. *Да нет же, Паша, меня бы и шведский социализм бюджетный устроил, без этих грабежей и камланий на трупе убитой эпохи...* Либерализмом и свободолюбием как необходимым каждому пространством самовыражения он был пронизан глубоко – и добавила к тому, видимо, экзистенциальная усталость от пребывания в своем наглухо задраенном производственном отсеке, хотя бы и в городе на просторной Волге.

Человеком он был ярким и обаятельным, добрейшим, динамичным, красавцем и хорошего сложения. Обличал примитивизм, спешил дознаться истины, был настоящим гуманистом, стремился творить добро. И если бы снимал кино – то уж как минимум не хуже, чем Алексей Балабанов. Пусть культового фильма и не снял бы, но уж точно снял бы солнечней, жизнелюбивей и ни в чем бы не соврал. Ему чутка недоставало твердости. При всей своей вере в свободы он по большому счету был малоконкурентным. По причине, думаю, избыточного альтруизма. Из тех природой одаренных

смертных, что не считают долгом гуманиста рвать клыками добычу, как это происходит в волчьей стае.

А спорил больше, думается, дабы не угасала радость общения со старым приятелем. Куда ж без драматического накала. Потом уже, ближе к развязке, мне кажется, стал что-то переосмысливать, уходить от однозначных оценок. Но случилось и худшее – погрузился в депрессию. Не смог пережить гибели сына от наркоты. Сын поучился в нашем же инязе, потом они забрали его домой. Странно, а ведь в то наше студенческое время и представить было нельзя, что кого-то рядом с тобой посадили на «колеса» или на иглу...

Несколько лет они с женой бились за сына. Татьяна даже звонила мне однажды на Алтай – подумывали отправить его куда-нибудь в таежную заимку с надежными людьми по соседству... *Может, есть местечко на примете, куда Егора можно упрятать от этой беды?* Я уже стал наводить справки, но потом они передумали. Чувство собственной вины и унесло Павла поздней осенью вслед за Балабановым, чтившим его дар общения...

Было бы неправильно и странно считать, что Балабанов оставался в своей психомеханике неизменным в пространстве недолгого пути – в лабиринте к славе. Но в те дальние времена он являл собой довольно редкий тип озорника, что не примет вызова, если кому-то его штучки вдруг придется не по вкусу, и тут же спрячется в кусты или за чью-то спину. И, вполне возможно, даже не из трусости самой, а из того же

озорства, из чувства игры. Возможно, это был некий момент лицедейства. Он как бы приноравливал потребности души к своей творческой будущности, к форматам актерства.

Так оно было либо иначе – но вот любовь или тяготение ко всему небанальному и маргинальному, порой и на грани болезни, обозначилась в нем еще тогда и сохранялась на протяжении всей жизни. От него первого, кстати, я слышал порой и новомодное словечко – например, иностранцев он стал называть *форинами* (от английского слова *foreign* – «иностран- ный»). Или, скажем, *баинню заклинило*... это когда кто-то ту- го думает или чего-то не понимает вообще. Впрочем, это уже больше потом, после института, а там хватало и других пересмешников.

Девушки его в то время особо не интересовали, ведь с ними не потусуешься. Какая из юных дам готова сорваться в одну секунду на очередную движуху или влезть в какую-ни- будь авантюру. Да им и физиология не позволяет, и прису- щее полу чувство собственного достоинства.

Да и по части самооценки, мне кажется, у него тогда был дефицит по женской линии. Он и писал про это в своем пись- ме ко мне, впрочем, без всяких сожалений. Как субъект, со стороны взглянуть, он был довольно взъерошен и даже ки- кимороват. Не все, конечно, девки непроходимые зануды. Всегда, найдутся, само собой, и атаманши, готовые ринуться в бой по первому звуку кавалерийского рожка. Но это уже ближе к партай-геноссе, чем к нежному полу в собственном

смысле. К тому же зачастую это были особы крепкие и стремительные и даже превосходили парней спонтанностью поступков. А его внешняя сублимированность все же остерегалась возможных поползновений с их стороны.

По соседству с балабановской комнаткой в новенькой кирпичной девятиэтажке, выстроенной на улице Лядова под инязовское общежитие, жили два парня с нашего курса. Юра Кучма и Саша Пчелка. Их еще студентами посылали на рабочую практику на Ближний Восток, и они доучивались уже с его курсом. Парни хорошо подзаработали, страна их оснастила «чеками внешпосылторга», они обзавелись модным «прикидом» – и поселились вдвоем в одной комнате.

Между ними и ближайшими соседями – командой, куда был вхож и Балабанов и где била ключом и веретеном вертелась жизнь студенческая (а были там и Кира Мазур, и Саша Артцвенко, Саша Казаков из Ярославля по кличке Птица, еще один Саша – Баикин, кажется, оттуда же, еще Саша – Гурылев, и целый ряд иных искателей забав молодости), – словно образовалась подчеркнуто сословная дистанция. У Кучмы и Пчелки были здоровенные двухкассетники (настоящее сокровище по тем временам), шикарные «дипломаты», классная обувь, золотые цепочки на шее – и оба они лоснились респектабельностью. Предметами зависти были также и всевозможные безделушки – от африканских поделок из черного дерева до экзотического «не пойми чего». (Вот разве что не было чертика из шкатулки, как у Семен Семеныча

в кино у Гайдая.)

Таким примерно «не пойми чего» была и эбеновая статуэтка с выдающимся, простите, фаллосом, который ввиду несоразмерности у иных несведущих особ не сразу обнаруживал связь с прототипом. Когда юные леди, приведенные к вящей приватности на дальнейшее знакомство Юрой Кучмой с дискотеки, спрашивали, что это, Юра восхищенно отвечал, что это «фаллический символ»...

Ветераны (не только Кучма и Пчелка, а все, поработавшие в студенчестве за кордоном, или просто народ постарше или поярче) приходили на дискотеку во всем своем блеске уже ближе к апогею веселья или чуть позже. К тому времени, когда появлялись и самые достойные барышни и когда вообще положено сходиться корифеям. Неспешно оглядывая собравшийся контингент, производили естественный отбор и приглашали на медленный танец. Время от времени и как бы даже не без снисхождения включались и в быстрые общие подергивания и подрыгивания под «Бони-эм», подобрав себе кружок, наиболее соответствующий их статусу.

Балабанов сразу же присвоил им кликуху – «буржуи», и она прижилась. Но это было не пролетарское презрение к порочному классу, а фрондерское, интеллигентско-чегеварское – тоже по-своему позерство. Это уже было сродни и «революционности от Лимонова», а иные даже были наслышаны о его существовании, ведь кто-то слушал вражеские «голоса» или даже тайком ввозил его мужеложеский авангард

из закордонья.

В ответ Юра Кучма, тоже мастер уподоблений, прозвал их «панками». И тоже в точку – они как будто первыми стали привозить музыку со скандальными названиями Sex Pistols etc.

В компании студента Балабанова никто давно уже не верил в мессианство класса-гегемона, а долгие отчетно-выборные мероприятия «по ящику» не пробуждали в юных душах ни искорки пиетета. Все это уже было предметом иронии – как и сами анекдоты про Брежнева, рассказывать которые не боялись. Являлось тайное знание, и с двойным идейным дном и спрятанной там фигой заговорщика жить было и острей, и трепетней, и динамичней.

Да, это была команда ребят с неясными еще претензиями в части искания смыслов. И пусть некоторые из них могли и нашкодить от большого ума, как, например, Саша Артцвенко (он пользовался успехом у дев, но, случалось, мог повести себя и не очень достойно, за что по нашим временам могли б и наказать серьезно), но потом и признавали собственную дурь. (Саша тоже, повторюсь, рано умер, и кто-то счел, что сам по себе он был гений общения – а помер от распущенности и возлияний.)

Все они плюс Женя Куприн (тот был домашним скромником нижегородским) задруживали со Слоном – так звали преподавателя французского Владимира Пронина. И это поднимало их в собственных глазах и в глазах окружающих.

Слон был высоченный, телесно крупный и круто лысый человечеще, и эта кличка сверхадекватно отражала его внешний облик. Иногда он появлялся у них в общаге и распивал с ними напитки. У него был один, по мнению знавших его людей, серьезный недостаток, лишавший мужика ориентиров и особенно неприятный в те коснозаконные времена, а ныне весьма даже в «цивилизованном мире» терпимый.

Нынешний инязовский ректор (Нижегородского лингвистического университета) Жанна Никонова в публичном выступлении на тему увековечивания памяти режиссера Алексея Балабанова мемориальной табличкой возвестила однажды следующее: «В те годы на переводческий факультет горьковского иныза принимали только молодых людей, так как переводчиков иняз готовил военных. Это означало строжайшую дисциплину и глубочайшее знание всех изучаемых предметов. Обратите внимание, что тема иностранных языков в фильмах Алексея Октябриновича проскальзывает периодически – а в его фильмах нет случайностей...»

Можно посочувствовать даме в благом, безусловно, деле укрепления дисциплины во вверенном ей учреждении образования. Но только сам Алексей Октябринович уж верно посмеялся бы сказанному, равно и стараниям вовлечь его авторитет как блюстителя дисциплины в становление нравственных основ молодых поколений. В словах ректора верна лишь первая часть утверждения – пусть и с филологической неточностью. (Можно сказать *Молодой человек, вы оброни-*

ли *бумажник*... и всем понятно, что обращаются к юноше или мужчине. Но только множественное число (*молодые люди*) может включать уже и представительниц другого пола. Впрочем, можно сим и пренебречь, ведь сегодня для ректора первична грамотность в финансовых вопросах...)

Да, на факультет в то время принимали исключительно парней, поскольку многие выпускники распределялись потом лейтенантами на два года в армию (таких и называли в те годы «двухгодишниками», или с переделкой – «двухгадюшниками»). Из них, возможно, каждый седьмой-десятый оставался в СА кадровым офицером «на всю катушку». Другие, отслужив свои два года, дальнейшее трудоустройство искали уже сами. Иногда они повторно, уже по контракту как гражданское лицо, отправлялись в тот же Ирак, в ту же Ливию или Алжир (туда больше слали с французским профилем). Не говоря уже о той примерно половине, что получала свободный диплом или ехала куда-нибудь на ВАЗ, как Паша Солдатов, Фаниль Садыков, Дима Науменко и многие другие переводчики, в ком была потребность на гигантах индустрии...

Но вот столь чаемая ректором в прошлом «строжайшая дисциплина» или «глубочайшее знание всех изучаемых предметов»... это уже явный перебор. Леха Балабанов вращался в кругу сотоварищей, которые не очень-то блюли строжайшую дисциплину и могли порой отмочить такое, что в правила приличия особо и не вписывалось. Да и глубочай-

шие знания часто подменялись у нас банальной эрудицией и общей «нахватанностью». Ребята были способные, не спорю, я часто и сам предпочитал общение в их среде всякому иному. Например, общению с истинными отличниками – уж «твердилами» там или «ботанами», как нашлась бы сказать нынешняя молодежь, – но как раз примерно с теми, что выведены ректором в общее представление о факультете.

О какой строжайшей дисциплине можно было вообще вести речь, если в студенческой столовой свободно продавалось пиво. Отпей бутылочку-другую – иди на лекцию или занятие по языку, оное вообще-то не бранилось и не возбранялось. Бывало – и прогуливали, если находилось более увлекательное дело. Прогуливали даже «Маму Женю», всеми любимую Евгению Андреевну Борисевич, у которой всегда было интересно и весело на уроках языка или страноведения. Потом врешь ей в глаза – а она понимающе кивает и единственно, почти без осуждения: «Какой нудный... ой, какой нудный...» У деканов Ивашкина и Рябова «кризисного управления дисциплиной» хватало каждый день. Наказывали, если честно, за драки, порчу имущества, мелкие бесчинства за пределами учреждения и не за прогулы, а за настоящие загулы...

Кажется, Мазур рассказывал, что где-то на последних курсах Балабанов стал сочинять рассказы и вести дневник. Я этого не вспомню: или не придавал этому значения, или мне об этом просто не было известно. Но и немудрено, ведь Ле-

ша был сыном человека, писавшего киносценарии и вообще снимавшего кино. Какой киношник, даже и простой вития, пожелал бы отвадить сына от столь престижного дела и привить ему интерес к иному? Это как если бы сыну раввина вдруг сказали забыть про все, идти и пасти с гоями свиней и заниматься земледелием. Думаю, идею с дневником ему мог подсказать отец – Октябрьин Балабанов, стремившийся видеть в единственном ребенке продолжение. Я лично с трудом представляю появление у Леша дневника как духовной потребности.

Отца Леша чтит. Переживал за него, рассказывал мне, что у того с печенками нелады (видно, и Алексею передалось по отцовской линии), и доктора ему запретили – а он знай себе любимый коньячок отпивает. И все же сам он четверть века не дожил до отцовского рубежа. Впрочем, на то были причины – и об этом речь еще впереди.

И все же это была жизнь студенческая, жизнь коллективная, коллективистская, общажная – еще на детском доверии, почти всеобщая, всеобъемлющая, федоровско-космическая, бессмертная... Не броуновское движение индивидов, собранных в одну банку. Было столько невероятных ощущений и весенних предчувствий, упоительных предвестников счастья. Юношеские мечты были прекрасны – и, казалось, вели прямой дорогой к небесному сверхрадостному бытию.

Все обрывается – и наши связи обрывочны, и нет ни в чем

гармонии и продолжения, и несть пределов морю отчаянья, и мало что уже способно зачерпнуть из прошлого хоть краем сердца далекие юношеские восторги. И балабановское кино в своей природе что ни кадр – и напомним всякому об этом. *Не скорбите, братие, и не унывайте* – заповедовал древнерусский святой. Это не про Лешу Балабанова. У него не получилось.

Он хотел быть и вровень со всеми, и выделиться из толпы. Мог увлечь за собой, а мог ошеломить безумием выходки. Стремился к истине в человеческих отношениях и лукавил в поисках красотостей от простоты. А иногда и отчаянно врал от непонимания природы вещей. И уже потом он как бы ставил в своем кино вешки-символы, пытаясь ритмизировать и структурировать пространство, а судьба своим тяжелым молотом разбивала их, словно глиняные горшки. Да он и сам дробил и фрагментировал упругое пространство жизни, повинувшись тому бессознательному, что было сильнее его...

Все тот же Горький, но уже и Нижний – и дальше

Я страшно обрадовался, узнав, что Алексея распределили после института в транспортную авиацию, как и меня курсом раньше. В предшествующий год на мой адрес в офицерскую общагу в Мигалово (на окраину Калинина) приходили его письма, и в них было больше грусти, чем радости. Увы, сохранилось лишь одно – но и оно многое опровергает из того, что придумали о Балабанове в молодости. Вот оно, орфографию и пунктуацию я сохраняю (на конверте почтовый штемпель – 22.09.80):

Здравствуй Генка!

Я был ужасно рад получить твое письмо, тем более, что ты был первым кто мне написал. Я так и не понял хорошо тебе там или плохо, но мне здесь очень плохо. Остается только с радостью вспоминать прошлый учебный год, особенно конец его, когда мы действительно веселились.

Я бы с удовольствием сделал это сейчас, но мне почему-то уже не хочется, да и не с кем. Вы, пожалуй, были последними, не буду добавлять из «могикан». Но у меня есть еще год, а у вас его уже нет, и от этого становится еще

грустнее. Вот если бы мы все провели его вместе!

Сижусь в Горьком, но на работу не выходил еще ни разу, то болею телом, то «душой». Завидую тебе, ты собрался с мыслями, а мне это не удастся. То ли их нет, а, может быть, просто не могу.

Новостей, вобщем-то никаких нет. Приехал Пчелка, но общих интересов у меня с ним не было и нет, да пожалуй и не будет. Они (то есть он и Кучма) интересуются жєницинами, а мои интересы, как ты знаєшь, лежат несколько в другой области.

Вчера звонил Пашика Солдатов. По-моему он доволен. Они наконец-то нашли квартиру, даже с телефоном, работа ему тоже нравится, во всяком случае мне так показалось, а может это совсем и не так? Он ведь никогда не был пєсимистом, ты же знаєшь. Его телефон 24-08-25.

Фан уехал в Ливию. Джон с Кругликовым на Дальнем Востоке, Левченко с Валенковым в Джанкое. Адресов я, к сожалению, не знаю. Погосов у себя, на работу еще не устроился. Плахотный все еще здесь околачивается, а его диплом лежит у коменданта. Вот и все что я знаю.

Жить я буду с Казаковым. Я не очень-то этого хочу, но больше просить не с кем. Он еще не приехал, так что я пока живу один. Попытки полноценно использовать это время оканчиваются тем, что я лежу на кровати, уставившись в одну точку, а действия мои ограничиваются сменой пластинок.

Иногда приходит Леха Насонов (или индейский вождь Од-ноглазая Выхухоль), и мы с ним либо слушаем музыку, либо разговариваем разговоры, темой которых обычно является прошлый уч. год и ваше «потерянное поколение».

Вернулся из армии Рыбин и вся их компания выпуска 1978 года. Ищут работу. Некоторым все-таки удалось оформиться за границу, теперь ждут вызова.

Видел Маринку Елисееву. Она пока не может найти работу. Гордеев сейчас в Горьком и Пашика очень хотел увидеть его, но ему очень трудно сняться с места теперешней работы, поэтому мне кажется, что он не приедет.

Но я надеюсь, что ты-то, приедешь, если выдастся свободная неделька. Моя комната та же, обстановка в ней не изменилась, и, мне кажется, что тебе будет приятно еще разок окунуться в атмосферу студенческой жизни. Ну до свидания, Генка! Еще раз спасибо тебе за письмо. Приезжай, в кино ходим! Огромный тебе привет от Кучи, Пчелки, Ле-хи-вождя.

Счастливо тебе полетать.¹

Будущего режиссера кино в этой студенческой эпистоле обещает лишь единственная фразка: *Приезжай, в кино ходим!* Впрочем, и она этого не проричает. Мы все любили кино – и в те далекие советские времена были окружены и большими кинотеатрами, и совсем камерными кинозалами. Ки-

¹ Факсимиле этого письма можно найти в разделе Иллюстрации – Прим. ред.

но на Минина, на Белинского, «Рекорд» – не говоря уже о крупных центровых. Там «Сталкер», здесь «Мимино», еще пройти – Ришар, а где-то Бельмондо. Там – море смыслов и нераскрытых подтекстов, здесь – океан обаяния.

В кино сходим... Все остальное в письме – о банальных подробностях быта и перемещениях студентов, ставших молодыми специалистами. Вечных вопросов Алексей не поднимает. Еще не готов – а болезнь тем временем уже наносит первые удары, о чем он не стыдился писать. *Мне здесь очень плохо... то болею телом, то «душой»...* – именно об этом. По этой причине, по причине общей хандры, с этим связанной, он и «на работу» (на учебу) не ходит.

Можно было, конечно, и не приводить его письмо в полном виде. Но оно довольно лаконично повествует и о судьбах, и о не слишком радужных жизненных обстоятельствах у кого-то из выпускников, связанных с необходимостью долгого поиска работы, например. И в общем отменяет ту монументальную картинку будущего защитника Отечества и героя, которую нынешняя «студия Грекова» от пропаганды всегда готова представить широкому зрителю по любому случаю.

И все же это было время, когда болезнь еще не захватила его всей силой, и сама безыскусная ткань бытия еще не отталкивала будущего творца, и в его мозг еще не проникла всеудушающая энтропия. Здесь он нормален – такой, как все, разве что хандрит, во многом вполне человеческий и даже

простецкий.

Сказать по правде, мне тоже было невесело. Хотя и по другой причине. Моя избранница не спешила соединиться со мной и в итоге предпочла меня другому, и я мало в чем находил утешение. Признаться, в этом не вижу греха. Мужчине следует стоически переживать неудачи в любви, но они же этот стоицизм и формируют. В общем, навыка не было. Но год пролетел быстро, и вслед за мной тем же «воздушным коридором» отправился и Балабанов. Его призвали на службу в другой город в полк ИЛ-76-х, но казалось (в летном-то формате), что это не так далеко от Калинина. Какой-то час лету.

И вот он, Леха Балабанов, вместе со мной в системе ВТА. Как и я, бортовым переводчиком. Это значит, что с момента пересечения госграницы ты должен выполнять в экипаже обязанности бортрадиста. (Ничего страшного – настоящий радист рядом, все в его присутствии, если что, подстрахует в техчасти.) Связь-то на международных перелетах исполняется на английском. Все по системе ICAO (International Civil Aviation Organization). А поди выучи господ прапорщиков английскому языку – даже и в пределах краткого вокабуляра радиообмена. Только начсвязи эскадрильи – старлей или кэп, этот еще что-то попытается исполнить на семейном утреннике, а двое с других двух бортов эскадрильных – с двумя звездочками вдоль плеча – мастера иного наречия.

Для этого тебя месяц-полтора помуштруют в азах радист-

ской работы, и никто даже не потребует знания морзянки. Походишь на тренажер (нынешние умники на ТВ транслируют это слово в упор: раз это simulator – значит «симулятор»), дабы привыкнуть получше к реальной обстановке. А почему, собственно, и нет, почему и не «симулятор»? В XIX веке и «Айвенго» переводили как «Ивангое»...

Двухкилевой китообразный АН-22 из моей 12-й дивизии, старичок АН-12 из других, почти новенькие, с иголки, реактивные ИЛ-76 – вся эта братия развозила разный скарб, зачастую военного назначения, в страны двух обширных частей света: Азию и Африку. Это и тогда уже не было секретом для коварной заграницы, а сейчас и подавно. Самолет не иголка, отовсюду разглядишь. Прилетит этот самолет (он же «борт» на профессиональном языке), разгрузится за пару часов и назад.

Экипажи летали нечасто – как правило, в год по несколько раз. Но это все же была возможность глянуть на заграницу, преимущественно арабско-африканскую, и немного «наварить» командировочных в «чеках». Не сравнить, конечно, с заработками тех «переводяг», что торчали там два года permanently, но все же...

За полгода до моего прибытия на службу начался Афган. ВТА полетала туда вначале и с бортпереводчиками. Потом везде диспетчерами на контроле посадили наших или неплохо знавших русский пуштунцев и таджиков, и бортпереводчики там вообще больше не требовались. Что-то в аэропор-

ту растолмачить? Да местные тебя скорее на русском, чем на английском, поймут. Или, чтоб не болтались без дела и не мешали штурманам в штабе, разок-другой могли и послать на денек переводчика по безопасному маршруту. С ночевкой, скажем, в Ташкенте на пути туда и обратно.

Мне и самому случилось пролетать над афганскими ночными горами на большой высоте. Проходишь точки обязательного доклада диспетчеру, глянешь вниз – темнота, только чернобурые контуры хребтов под тобой выступают чарующе. И разве что раз в полчаса или в сорок минут замерцают внизу огоньки какого-то селеньица. Мы обслуживали брежневский визит в Индию в декабре 1980-го. Возили станцию космической связи, это были тонны железа. Индия как будто была не сильно против нашей афганской авантюры. О «трех кассиопеях», как я это называю (об Интернете), даже и не мечталось тогда. Ну, разве что лет через сто... Вру – даже и в голове не было...

Уже спустя много лет я предположил, что и Леха Балабанов, могло случиться, был завезен в Афган на часок-другой. Поднапряг блок памяти – как будто нет, не бывал он все же там. Оно бы вспомнилось. А вот рассказы о вывозе «грузов 200» он мог услышать и от экипажей в полку, где служил. Кажется, одно время он жил в общеаге с летуном, что вывозил их оттуда. Каково же было мое удивление, когда я спустя тридцать лет стал натекаться на тексты в СМИ и даже в «вики» про лехино героическое прошлое в Афгане...

В принципе, ему достаточно было всего-то раз интервьюеру обронить с увесистым намеком, что борты его подразделения выполняли интернациональный долг, залетая и в братский Афганистан, как группа пиара тут же все раздула до немыслимых размеров. Так Леша Балабанов оказался героем-интернационалистом, бесстрашным спецназовцем и бывалым воителем. Оттого будто бы и фильмы у него такие тяжкие, такие рвано-колотые – словно раны на теле. При всей его внешней субличности и невоенности оно и загадочней было...

В опровержении своих тайных ратных подвигов Алексей Октябринович замечен не был. А зачем это отрицать? По крайней мере, сам он не считал своим долгом это делать. Уж очень оно тут все ладно срасталось для имиджа.

Но случилось в то далекое время и то, что меня по-настоящему потрясло тогда. И об этом рассказать придется. Без этого останется за пределами понимания очень многое в кreative культового режиссера и моего старого друга. (Говорю с поправкой на то, что дружба эта все же не успела застареть как таковая – и оборвалась однажды...) Ведь в этом зашита ДНК всего творчества Алексея Балабанова, и без этого он просто необъясним во многом. Об этом я поведал однажды в своей публикации в «Литературной газете» в год его смерти. Называлась она «Лехин груз»...

Кто-то усмотрит в названии нехороший подтекст, чуть ли не издевку... однако название это пришло от сердца.

Мне было искренне жалко его, так безмерно рано ушедшего. Пусть даже и дороги наши с ним когда-то резко разошлись, и я считал его уже чужим для себя...

Публикация та натолкнулась и на волну озлобления в комментаторских массах: *вот ведь завистничек нашелся... великого режиссера нет уже... а при жизни, в лицо ему, ты бы побоялся сказать...*

Ничуть. Не побоялся. Еще раз: была и близкая по смыслам и пафосу моя публикация в «Литературной России» за шесть лет до того, в 2007-м. Балабанов был еще жив – *alive and kicking*. И та первая статья так и называлась – «Пожалейте Леху Балабанова»...

Из Калинина добраться до Горького было проще просто. Садись вечером на проходящий ленинградский поезд – и утром ты уже на месте. В первый год службы, когда Алексей еще доучивался на пятом курсе, раза два или три я и срывался в любимый город под выходной. Нашим братом переводчиком полк укомплектовали недавно, и летный состав все не мог взять в толк, что мы за птица. Даже метеослужба – и те народ военный, а на этих переводчиках, лейтенантиках гражданских, и форма мешком, со склада, и выправки ноль.

Мы особо и не навязывались – появишься с утра на построении, посветишься в штабе у штурманов с четверть часика – и назад к себе в офицерскую общагу. Одного дежурного все же оставляли, как правило, неженатого – для связи.

А то, бывало, и в город на прогулку сорвешься. Посылают и в наряды по гарнизону – патрулем, но предупреждают заходя, планируют.

И вот однажды на очередной моей вылазке в Горький Алексей не без грусти обронил, что есть проблемки со здоровьем. И, в общем, серьезные. Какие-то чего-то там расстройства... Я не придал этому никакого значения. Даже не стал утешать. Ну, расстройства – и расстройства, пройдет и забудется. И Саша Арс, и другие говорили мне про его беду, но я этого всерьез не воспринимал. До того времени, как все это произошло у меня на глазах...

Случилось поздней осенью на втором году моей службы, у Алексея – на первом. Его прислали в командировку в наш полк и поселили на пару дней в профилакторий, стоящее на отшибе здание. Предназначенный как бы и для оздоровления, смотрелся он мрачновато и как-то неуютно – что снаружи, что внутри. А моих соседей по комнате в общежитии (лейтенантов Джанкуева и Малахова) как раз не было в то время в подразделении. Так что оставайся, Лешка, с ночлегом здесь, пообщаемся.

И мы засиделись с ним до ночи под бутылку красного крепленого, успели поговорить и о друзьях, и о прочитанных книжках. Я рассказывал о своих тверских впечатлениях, а он проклинал хохлов, что достались ему в соседи и коллеги. Это были такие же, как и мы с ним, переводчики, только южнороссы – с киевскими и харьковскими дипломами. (Я видел

их на слете переводчиков, где мы делились опытом летной работы, был там и он: неплохие в общем ребята – со своим юмором и со своей мотивацией, они чутка опережали Балабанова в темпераменте, и у него с ними не сошлось. Сам любивший подначивать, он довольно настороженно реагировал на «фидбэк» от них в свой адрес.)

Наговорились всласть, выпили вина – уж точно без перебора, за второй бутылкой не бегали, и я постелил ему на соседской железной коечке, почему-то заслужившей в народе явно преувеличенное название «полуторки».

Из глубокого сна посреди ночи меня вырвали странные звуки... Откуда-то шла тяжелая гулкая вибрация непонятной природы. Глаза я разлепил мгновенно, и первой вспыхнувшей в темноте мыслью было: *война... землетрясение?* Во все не банальная фигура речи – никогда не забуду того своего испуга... К нашей же взлетной полосе мигаловской лепился и полк истребителей, и реактивного рева посреди ночи нам хватало. Только он уже был привычен, а тут что-то жуткое с содроганием...

Я взвился к выключателю ракетой – щелк, и все увидел... хоть и осознал не сразу...

Лешка бился на железной коечке в диких судорогах... ужасно амплитудных и механических... Словно большая кукла, у которой повредилась гигантская пружина или заводной механизм...

Подскочил к нему, попытался схватить за плечи, но удер-

жать их в руках было невозможно... Его и так всего трясет – и ты еще добавишь в попытке разбудить...

Отчаяние в общем не в моей природе – но иного я в тот момент и не чувствовал... Потом метнулся в коридор и стал стучаться в соседскую дверь по другую его сторону. На помощь мне выскочили приятели – капитан Роцин, летун, разжалованный за рукоприкладство в административный состав, и лейтенант Низамутдинов, технарь из Калининграда...

Леху уже било так, что слетела с крючьев задняя спинка – и кровать встала трамплинчиком... Но Леха не сполз и не свалился вниз – он оставался каким-то разболтанно-ригидным... по-прежнему в бессознанке и совершая немислимые для тела движения...

Роцин – мужик бывалый, с боксерским ломаным носом и крепкого сложения. Тут же потребовал ложку, а у меня были только вилки немытые с нашей вечерней трапезы. С алюминиевой ложкой влетел Игорек Низамутдинов – и вот ее уже запикивают Лешке в рот, да и то не сразу вышло – зубы-то стиснуты, и не попадешь еще...

Позже я узнал, что совать эпилептику в рот ложку, тем более металлическую, чтобы тот не проглотил собственный язык и не откусил его в припадке, тоже не вариант. А тогда просто сунули и держали его руками... Я впервые видел, как у человека изо рта идет пена, обильная... Мелькнула глупая догадка: ведь и пеной этой можно захлебнуться...

По моим ощущениям, припадок продолжался минут пят-

надцать-двадцать. На часы посмотрели, только когда все закончилось, и он затих – по-прежнему не приходя в сознание. Кажется, было что-то после трех ночи... Спинку мы поправили, накрыли его одеялом. Леха уже тихо засопел, но лицо у него было все еще каким-то иссиня-зеленым и все еще пугало, словно это было что-то вроде посмертной маски...

Попили чаю у них в комнате. Я попросил ребят не докладывать о случившемся начальству. Нет проблем. Только Рощин, мужик старше нашего лет на пять, удивился – как его могли с этим взять на летнюю работу (в летно-подъемный состав)... Впрочем, сам же и догадался: кому ж захочется признаваться... не насморк ведь...

Утром он проснулся тяжело и поздно – я уже успел сбежать на построение. «Было что?» – спросил он меня. Я рассказал. Вид у Лехи был крайне болезненный, но нужно было идти – и он заставил себя собраться.

Память до сей поры хранит все в деталях – столь велико было мое потрясение. Со временем стали забываться и детали, и я Балабанову никогда не напоминал об этом и не спрашивал у него о здоровье. И только много-много лет спустя, когда посмотрел его «страшные кино» (не то, что нарекли «культовым», а то, что назвалось эвфемизмом «авторское», что и смотреть-то, по моему мнению, интересней специалистам и киноманам), все снова проигралось в памяти в деталях.

Все более и более стала проясняться природа творчества Леши Балабанова. Не абсолютно вся его феноменология – но очень значительная сущностная его сторона. Очень многое стало понятным в его кино, природу которого постигают не все, тогда как многие очень часто путают ее с иными сущностями, истинными ли – мнимыми, или оснащают политкорректными проторенными домыслами в русле традиционных красот по части истолкований авангарда.

Именно в те времена, в конце студенчества и в начале самостоятельного пути, в период первых поисков себя во вне-студенческом формате, когда пошел этот слом в его физиологии с попытками приладиться к этой беде, как-то договориться с ней, осмыслить ее, и определилось многое в его творческом будущем... Но ведь была и утешительная сторона. Появилась и сверхмотивация – в знании о том, что падучая – болезнь великих. Болезнь гениев и пророков. (Если пренебречь, конечно, обывательским мнением – что это просто болезнь мозга, форма сумасшествия или на грани...) Что это не столько повод для отчаяния, сколько знак свыше, указующий на исключительность, на большую будущность...

Да – это и стигмы величия, и страшное клеймо, и я потом узнал, что если речь вести не о психогенном, или аффектационном, более легком типе эпилепсии, иногда и называемом псевдоэпилепсией, а о более страшном, органическом, то тут надо было себя готовить и к серьезным испытаниям. Ведь во втором случае, свидетельствуют врачи, сами

припадки нередко ведут к заметным физическим травмам. А еще у многих больных со временем развивается выраженное интеллектуально-мнестическое снижение, другими словами, слабоумие, теряется продуктивность работы, падает общий тонус. Да одно осознание того, что какая-то злая все-ленская сила вырывает тебя из жизни, полностью отключает твой мозг и бросает беспомощным биться в конвульсиях, напрочь сводит с ума... Тут не просто костлявая в своем истлевшем рубище тычет тебе в лицо своими страшными фалангами – тут и что-то более трансцендентно-дьявольское мнится в этом ужасе...

Впрочем, человек, как говаривал мой школьный учитель физики Валентин Сергеевич, с войны безногий, такая скотина, что ко всему привыкает... И сегодня медицина научила людей справляться со многими недугами – хотя и у лекарств есть побочные эффекты...

Я искренне боялся заговаривать с Алексеем о том случае, полагая, что чем реже ему напоминают об этом, тем лучше для него.

Восьмидесятые – девяностые, период полураспада

Повторюсь, что заслужу немало упреков, а то и беспощадной брани от кинолюбивых своих сограждан. Больше от молодежи, конечно же, чьим кумиром Леша стал и, судя по стараниям потрясенных эстетов и заинтересованных медийных кругов, еще станет... *Да как ты можешь, завистливое ничтожество, низводить великое кино Балабанова до этих примитивных суждений... И вообще – все это некрасиво и нечестно, тем более по отношению к старому другу... Разве можно ставить в вину кому-либо его болезнь или физические недостатки! Даже если эпилепсия и считается психическим заболеванием! И вообще – писать об этом!!!*

Автор заранее соглашается со всеми подобными обвинениями. Но другого способа сказать об этом нет. Сказать правду можно только... сказав правду. Никто уже и не ставит в вину-то... Просто объясняет и жалеет. Да ведь и хотел же он измениться в конце жизни – пытался вписать новые страницы в «книгу перемен». Что-то изменить. Но теперь уже не в мире, а в себе самом – в своем отношении к нему...

Впрочем, за публичность иногда и спрашивают по всей строгости народного спроса. И ушел из жизни – а все равно отвечай и объясняй все своими творениями. Ты ведь как ху-

дожник время запечатлевал. Чтобы рассказать о нем потомкам.

Не спору – *De mortuis aut bene aut nihil*. Согласен: *Об умерших в мир иной либо хорошо, либо ничего*. Но когда живущие стремятся тебя увековечить и причислить к лику «светочей духа», то ты вообще-то уже не из «мортиусов» в собственном смысле. Ведь ты как бы оснастил свой народ новыми смыслами или добродетелями. Геростраты и гитлеры, конечно, тоже попадают в анналы истории – но по другому счету.

А уж если приписывают к вечности, то человечество вправе знать о тебе все в мельчайших подробностях. Неслучайно и к лику святых церковь приписывает не сразу по завершении подвига великого служения, а спустя много лет, порой и через столетия, после тщательной проверки – дабы не случилось ошибки и даже брошенные в тебя камни сложились бы в основание твоего пьедестала...

Впрочем, об этом еще предстоит разговор, а пока скажу в двух словах о том, что меня сближало с Алексеем и держало в пределах видимости. И что окончилось примерно к тому времени, когда в его жизни начался этап профессионального ученичества под наставничеством другого культового режиссера – Германа. Когда на вахту дружбы с ним заступил Сергей Сельянов, а там и множество других людей – из тех, кто хранил эту дружбу до конца и сохранил о нем благодарную память.

А нашей дружбы с ним оставалось еще лет на семь или во-

семь. После службы время нас развело и сводило уже по разу в год или в лучшем случае раз в полгода. Всего тех встреч набралось бы не больше десятка.

Бывало, мы встречались у Кирилла Мазура на северо-восточной московской окраине. Слеталось человек по шесть или семь все еще юных, но уже старых знакомых. Часть – из Горького, что мы все чаще называли Нижним, а Балабанов – из Свердловска, который никто из нас еще не приспособился называть Екатеринбург. С этой ватагой, легкой на подъем – что воробыная стая, часто появлялся и лобасто-лысый сорокалетний Слон, который чем-то был и непонятен, и неприятен, тогда как остальным общение с ним по-прежнему льстило в самооценке.

Мазур всегда оставался более близким лешиным другом, чем, скажем, я или другие. Но у него другой жизненный ракурс, и если бы он написал о нем книжку, то это был бы больше панегирик другу, чем попытка острого анализа его творений. Кирилл, довольно выразительного и привлекательно-го семитского типажа, всегда был из тех, кто убежденно отрицает свою «этимологию», а с бородой – так вообще Карл Маркс в молодости. Но, с другой стороны, и антисемитизм у Балабанова если и случался, то больше мнимый – больше конъюнктурный, для интриги. А вот экзистенциальной русофобии у культового режиссера хватило впоследствии с великим избытком – и в «Морфии», и в его «бромпортретном кино про уродов», и в «Грузе 200», где не то что сама наци-

дея в минусе, но и русскому духу сделать спасительный вдох не дано.

Кирилл жил с женщиной намного его старше – помнится, журналисткой. Она была довольно плотного сложения и, мне казалось, азиатского типажа. Звали ее Стелой. И здесь, мне казалось, у них было больше духовного родства. И мне в этом смысле только предстояло развиваться – и только уже работая редактором документального видео в АПН на Зубовском, 4 (откуда, впрочем, был изгнан господами либералами в 1992-м и где через поколения от меня – с ретроспективой через Швыдкого и Лесина – теперь верховенствует Маргарита Симоньян), а часто и с корейцами из Сеула, и даже побывав в Сеуле в 1990-м, где насмотрелся истинных восточных красоток, я стал прозревать внушением свыше идеалы красоты этой расы.

Мазур, пожалуй, был единственным из нас, кто пронес эту студенческую дружбу с Балабановым до самого конца. А равно, думаю, и Балабанов ценил в нем достоинства близкого друга. Не знаю даже, зачем и пускаю в ход это слово, оно ведь не мое просто по звучанию, по грамматике своей, и я обычно не отношу его к людям, а больше к предметам неодушевленным, к понятиям общим... – но сделаю исключение: Кирилл был человеком «успешным». Кто-то говорил, что его отец был в свое время крупным профсоюзным деятелем в Норильске. А в наши благословенные времена, рассказывали друзья, Мазур будто бы с партнером продал пару промыш-

ленных карьеров где-то на Кольском полуострове, а это десятки миллионов долларов. Друзья говорили – молодец, не упустил своего. Так ли это – легко ведь и оговорить... впрочем, в наши времена такое чаще похвала, чем осуждение. Таким и представляю Мазура – «успешным», но все же умеющим сочетать в себе и достижения, и постижения.

Рассказывая о Балабанове, придется сказать что-то и о себе. Чтобы задать нужный ракурс. Мне далеко не всегда удастся разделить эти восторги по поводу предпринимательских успехов. Так случилось, что в вуз поступать в город Горький я приехал в 75-м – к родителям, что воспитывали младших брата и сестру. И обитателям общаги я вполне мог казаться городским и домашним. А до семнадцати годков я рос в деревне у бабушки, у которой было только два месяца какого-то церковно-приходского образования, но были опухшие, в черных трещинах ладони, была корова и прочая домашняя скотина, и было много тяжелой работы до самой старости. Баба Маша моя часто вспоминала... Учитель, еще до революции дело было, приходил в их избу и просил ее мать, мою прабабку: «Матрена, отдай дочку в школу. Она у тебя способная». Та отвечала с вызовом: «Чего это? Хватит – уже и писать выучилась. Она мне тут за зиму шерсти напрядет...» Прабабка на фото – строгого вида женщина, из крестьянской среды, в «социальные лифты», видно, не очень верила...

А еще у меня на глазах гибли близкие люди, когда нам

давали делянку сухостойного леса на дрова на зиму – и мы сами этот лес валили. И ведь сильные были люди – и нутром, и физически. Вот только не до «социальных лифтов» им было. Потому-то уже после АПН, когда все, что плохо лежало в стране, было уже прихвачено теми, кто высоко стоял или «хорошо сидел», я крепко сблизился с идеей социальной справедливости. (Хотя полной взаимности и не случилось. То на нее надавят откуда-то с Лубянки – из стана стихийных соцдарвинистов и сторонников естественного права, i.e. штатных стяжателей патриотического духа, то сама она вдруг забьется в отведенную ей нишу, уже не подпустит к себе и малой оплошности не простит. Всего один «мыслешаг» влево или вправо из строя – и до свиданья, публицист... ты не понял, чего от тебя ждали...)

Да я ведь и начинал топтать свою журналистскую тропку с многотиражки «За советские часы» на Первом часовом. Кстати говоря, тогда, в середине 80-х, завод – семь тысяч человек, тридцать цехов – отправлял на экспорт восемьдесят три процента своей продукции. Намеренно пишу словами, избегая цифры, чтобы никто не усомнился – не опечатка ли...

Где-то ближе к середине 80-х я снимал в Москве маленькую однушку на станции Лось. И если иногородняя ватага не летела к Мазуру или куда-то еще, то, случалось, иногда залетала на выходные и ко мне. Я давал им ключи, а сам отправлялся к своим старикам в Подмоскovie. В Москве они

нередко спускали все до копейки – и Саша Артцвенко, бывало, тайком проникал куда-нибудь в купейный вагон до Горького и прятался там в боковой багажной нише. А когда высывался оттуда, соседи скорее понимающе смеялись, а не бежали за проводником или начпоезда. Такие были времена.

В тот раз у меня остановились на выходные Балабанов, Слон и кто-то еще, уж не Женя ли Куприн – но, кажется, нет, не вспомню... А вместе с ними были еще и две девчонки из Горького. Успел взглянуть на них краем глаза, когда вручал Балабанову ключи с кратким инструктажем на лестничной клетке. Стройненькие, миловидные, ничуть не дурочки, по глазам видать – как раз такие мне всегда и нравились, но по закону подлости пролетали где-то на траверзе. Балабанов с ними по-свойски – слегка кося под мачо непризовой категории.

И зачем-то опять притащили этого Слона, который, все говорили, совсем по другой части. И еще говорили: мания у него – закупит любимых почек свиных, наготовит духовитого жарева...

Оно конечно, в закрытом городе Горьком-то особо не разъешься – зато по части увеселений там куда лучше. И чего им всем сдалась эта Москва? Да и не хотел я в тот раз уезжать из квартирки. Увы, таков закон гостеприимства: сам погибай, а товарищей выручай. Ладно – пусть веселятся ребята...

Под вечер в воскресенье я вернулся в квартиру, их не бы-

ло, оставались вещи, и через какое-то время прибежал за ними Леха. Он лучился самоварной медью, надраенной и похмельно-жаркой, и какого-то черта вдруг хвастанул своими амурными успехами. Как будто я был тем, кто способен оценить такие откровения. Или как если бы я их ждал от него. Или он таким вот образом хотел вознаградить меня за гостеприимство...

– Классная девка. Пи...денка узкая такая. – И плотно свел ладони большими и указательными вместе, намекая на некую деталь женской физиологии. Слова его растворились в похмельно-медной улыбке.

Был бы он законченный бабник или рядовой похабник... да и такие в общем избегают подобных интимных откровений... А тут хоть и довольно простой в манерах, но вполне интеллигентный парень Леша Балабанов. От него ли этого ждать? Я в общем не был никогда большим занудой-моралистом, но уж больно не по настроению было услышать от него эту дешевую бравадцу...

Я долго думал, стоило ли обнародовать такое, скажут – порочить великого русского режиссера, «говорившего с Богом». Но ведь и сам он, Леха, не стеснялся в своем кино матерной лексики. В том числе и такого же почти похабенького слова (как, скажем, в «Войне»), однокоренного с тем, которое я слышал тогда от него. И слышу-то в общем часто, в России живу и привык уже давно. Но вот раньше интеллигентная городская («додомдвашняя» и «докамедишная»)

молодежь не материлась, а сегодня, чистенькая с виду и не замазанная тяжким трудом, она этим «сленгом» вовсю бравирует...

А что стесняться, – сказал бы он в свою защиту. – Это же все народные слова... Так что и не без его, лешиных, стараний цинизм этот внедрялся в юные мозги...

Была ли та его бравада попыткой выглядеть брутальней и циничней, чем он был на самом деле? Попыткой мужского самоутверждения? Или это был неконтролируемый похмельный выброс неких «эмоциональных паров» или «интеллектуальных», взбродивших от впечатлений? Или это всего лишь проявление его познавательного инстинкта, а я трусливо пасую на ровном месте – там, где мужик только хохотнет в ответ, и проехали? Так или иначе – но я уже и прежде начинал понимать в каких-то деталях, в каких-то гранях общения, что этот его новый формат чуть «грузит» мне подсознание, проще говоря – начинает отталкивать...

В то время Алексей работает ассистентом режиссера у отца на Свердловской киностудии. (Про то, что папа успел устроить его во ВГИК в первый раз сразу после службы, а он уже успел оттуда вылететь, я от кого-то уже слышал, но не от него самого.) Проходит еще время – и как-то раз он прибегает ко мне на работу в пятницу под конец дня и начинает упрашивать «шлепнуть» ему печать на командировочное удостоверение. Сам он по беспечности не сделал этого ни в творческой организации, куда приезжал, ни в гостинице. А

теперь спешит в аэропорт. Выручай!

Но это невозможно, Леш. У меня же почтовый ящик. ЦКБ «Нептун». Я здесь простым переводягой в отделе НТИ, в общем без представительских возможностей, пойми... Представляю глаза директорской секретарши, к которой я пойду с этой просьбой. Лучше возьми такси – может, успеешь... Ну, заплатишь лишнюю треху...

С того времени он и вычеркнул, думается, меня из числа близких друзей, хотя было и еще несколько встреч. Не сильно жалел, должно быть, и я – хотя и по инерции чувствовал себя перед ним виноватым. Впрочем, мы уже по-разному смотрели на вещи, и у него уже был свой круг творческого общения, включая и свердловский – более обширный, рок-клубовский, динамичный. И я со своими не изжитыми комплексами провинциала в столице, нереализованными амбициями и довольно банальным кругозором, не знающим ни диссидентства, ни больших разговоров на кухне, разрывающимся между скучной работой и постоянной ездой к своим в Подмоскowie – с долгими стояниями на пригородных платформах, был ему уже неинтересен.

Кажется, раз или два встретились уже по инерции. Но все же случился потом еще один момент... Как-то раз мне позвонил Андрюша Левченко, мой однокашник из параллельной английской группы, и предложил заглянуть к Октябринычу. Это был год примерно 1988-й или уже следующий. Без

точной хронографии – но уверен, что Андрей бы сказал точнее. Он был из Краснодарского края – невысок, подвижен, истый южанин, хваткий на мысль и памятливым. Рано начинал лысеть – с взглядом пытливым, лучисто-проницательным. Из него бы мог получиться прекрасный режиссер кино, но в том, что такие, как он, в итоге выбирают синицу, а не журавля, есть неуловимый некий пиетет к журавлиному поголовью. Судьба Алексея как открывающего себя в творчестве его искренне интересовала – и я уступил его уговорам (он был проездом по работе), согласился на встречу.

Балабанов учился в Москве на Высших курсах сценаристов и режиссеров. (На всякий случай, чтобы не ошибиться в названии, заглянул в «вики», которая, в общем, не всегда «враки». Там указано, что Балабанов был приписан к экспериментальной мастерской «Авторское кино» Л. Николаева, Б. Галантера. Но там же вписана и выдумка, что Балабанов «воевал в Афганистане». С Галантером, не сомневаюсь, все ближе к правде.)

Мы пришли к нему в общагу – помню, куда-то по другую сторону от ВГИКа через Проспект мира – жарким летним днем. Леха выглядел утомленным – то ли жарой, то ли недосыпом, но Андрюша его разговорил. Я больше наблюдал за их диалогом со стороны, только запомнилось немного, был озабочен чем-то своим. Леха рассказывал, как он теперь запанибрата со звездами, как на днях был в гостях у популярной актрисы кино Симоновой и пообщался с ней под водоч-

ку. Видимо, думал, что для нас это интересная экзотика (тогда ведь на всю эту нынешнюю телепохабщину о жизни звезд еще и намеков не было, а мир кино был миром гениев, счастливчиков и небожителей), что это нас впечатлит, поэтому и предложил как гостеприимный хозяин пару не сильно заветрившихся деликатесных блюд.

Среди прочего он поведал, как присутствовал на каком-то недавнем рауте с представителями американской дипломатии и кого-то из творческих элит заокеанских. И когда речь зашла о Горбачеве и его перестройке, он им смело заявил под коктейль: *Perestroika is shit!*

Конечно же, это была все та же бравада, присущая ему. В общем не без клоунского интеллигентского претенциоза. А на крупном «американском плане» (см. киноведческий термин) выказывалось глубокое «прослоечное» неверие в перестройку – исключительно с диссидентской стороны. Все та же «фига», но уже не в кармане. Творческому интеллигенту фигу уже нечего было прятать – уже можно сунуть власти в нос. А та, в свою очередь, была готова показно зардеться в сожалениях, что не умела внемлить чаяньям. И *shit* шло от неверия, что все это закончится чем-то культурно-эпохально-значимым, опять же в интеллигентском изводе.

В общем, в то время Леша еще плохо знал, чего он хотел от политики. Но чего-то хотел и уже мог что-то кому-то доказывать. В плане психологии это хорошо просматривается из контекста все той же осмеянной Щедриным неопределен-

ности аспираций – *то ли конституции хотелось, то ли се-
врюжины с хреном...*

Это сегодня я чувствую, что мое пространство публициста сузилось, как шагреневая кожа, и нет ничего обиднее знать, что в обществе происходят вещи, о которых именно ты можешь сказать верней и лаконичней – а уже не дано, тебя изгнали со всех заметных трибун... А тогда я смутно понимал про себя, что еще не дорос до понимания динамики социального в стране. Приученно радовался перестройке и гласности – а не понимал. И еще дальше был от понимания динамики происходящего в элитах. А Леша был из семьи культурных элитариев, людей, знающих, как устроена система и какие процессы в ней пошли, и более того – весьма влиятельных с определенного времени. (Этому найдется место и ниже по тексту, в следующих главках.) И ему уже было о чем рассудить – и кино уже снимать как раз о несвободах и экзистенциальной тоске.

Леша и обнаруживал себя больше либералом в те времена, даже и русофилом будучи в каком-то формате. Он был из тех молодых творцов, готовящихся занять свое место в искусстве, кому хотелось большего, хотелось сильных кадров и потрясений, кому нужны были реальные реформы всего на свете (ведь здорово же, когда звон и треск повсюду – и дым коромыслом) и кто был убежден, что перестройка топчется на месте. Что она по сути своей – продолжение все той же пыльной демагогии про равенство и братство. Как же – серд-

да требовали перемен в отпущение за тоталитаризм, и разум уже не поспевал.

Протестуют часто совсем не только во имя справедливости, а от внутренней неспособности подчиниться дисциплине обстоятельств. Права и свобода личности – понятия не абсолютные, они имеют и конкретное измерение – временное и обстоятельственное. Так, у избалованного единственного ребенка богатых родителей представления о свободах и несвободах могут быть одни, а у его сверстника, растущего в большой без достатка семье, – другие. Тут вообще счет обязанностей может превышать счет личных прав на порядок. У познавшего мир старца они одни, а у юной вертихвостки – совсем другие. Ну, а человек пассионарный просто по природе своей иной, чем флегматик и конформист.

И опять же – умиляясь словам нового ректора нижегородского лингвистического университета, сказанным ей на встречу юбилею города и вмонтированию памяти о Леше Балабанове в стену заведения... Об исключительной дисциплинированности и соответствии моральному долгу... Со слов друзей, и я другого не скажу, Леха был отличным парнем. Скажи кто о нем плохое – так худшим из того будет: *Вот гад, два моих диска запил...* А когда уже вырос в большого художника, то стал очень требовательным, а местами и жестким в плане работы. Должно быть, так и было, хотя есть свидетельства, что часто не по делу орал на зависимых от него людей... Но прежде чем ему воспитать в себе чувство дол-

га и ответственности или приспособить их к потребностям своего кино, случалось и другое...

Уже на втором году службы, когда их борт сел на дозаправку в Будапеште и экипажу дали пару часов на отдых, Балабанов умудрился отстать от своих и потеряться. Он устроил себе увлекательный шоппинг по музыкальным отделам в поисках дефицитных дисков и так увлекся, что отстал от самолета... С кем еще такое могло случиться – сказать затрудняюсь... По итогам этого «развездаяйства» (был бы штатным офицером – сочли бы служебным преступлением) он был переведен в другую структуру на менее ответственную должность, где и дослуживал свой срок.

Но в большинстве сетевых «педий» вы опять же непременно обнаружите, что он «воевал в Афганистане». С толстым намеком на то, что был там настоящим коммандос, постигшим ужасы войны.

Именно. И какое-то время я не мог понять, зачем им все эти враки, уж больно жидковат раствор для пьедестала под памятник. Пока не понял главного: если этих врак не будет в его биографиях, то как объяснить его мизантропийные провалы в подземелья ада, его болезненную тягу к ковырянию в психических фекалиях рода человеческого, к живо-мертво-писанию даже не порочного в человеке, а вообще не человеческого, запредельного, именно инфернального... Иногда сравнить отдельные фрагменты его творчества можно разве что с деятельностью персонажей вроде немца Гюнтера фон

Хагенса, известного как «доктор Смерть»...

И самое подходящее объяснение всему этому в нем и в его творчестве исследователи находят в его «героическом тяжком прошлом», в «страшном опыте войны». Получается – вроде черт с ним, с реальным Балабановым, который вообще там не бывал, в этом Афгане, ведь творцам современной культуры как информации важна именно эта «правда о войне», во имя которой можно и соврать тысячу раз, которой только одной и можно объяснить его великое творческое безумие...

Я не видел ничего хорошего в той Афганской войне, хотя и не осуждал ее в те годы. Скажу еще раз: тогда, в 80-е, был таким, как все, ведь по большому счету мне было нечего сказать – и я еще не умел сравнивать одно с другим, не мечтал о свободах, не проклинал несвободы и косность мысли. Оппозиционером стал уже потом – уже к новой власти. Когда пришло время свобод и установило эту новую власть не без участия подходящего культурного инструментария. Но что-то понимать о той войне я стал еще тогда.

Война очень многое и многих у нас погубила. Она вообще была не нужна, с поправкой на то, конечно, что память ее героев и ветеранов не должна быть предана этим пониманием. А когда в 2007 году мне дал в интервью свои мысли о ней Леонид Шебаршин, недолгое время первый человек в КГБ, ориенталист, в далеком прошлом резидент советской разведки в Тегеране, все в извилинах у меня стало на свои

места. На изломе от Горбачева к Ельцину Шебаршин был Ельциным и отставлен. Он признался мне в том интервью: «Считайте меня русским националистом». Тогда можно было такое сказать – и даже больше с гордостью, чем с опасением за свой пиар. Он был против войны в Афганистане, сказал, что она была авантюрой.

И Балабанов ругнул ту войну со злостью – и тоже пост-фактум. Он подступался к ней как бы с нескольких сторон, в разных своих фильмах. Прежде всего, чувствуя в теме мощную конъюнктуру и потенциального зрителя.

И возвращаясь все же к той его фразе о перестройке... Сам он был не столько глашатаем свободы и правды, сколько бунтарем метафизическим, по случайной причуде ли, по нраву. Так, он рассказывал, кажется, в интервью «АиФ», что однажды пьяный переплыл Волгу, потом возвращался уже ночью. Может, и приврал – не знаю. Мне кажется, что и война его влекла как таинство несущего смерть случайного, в войне всегда есть мистика.

Лехин груз

Толкуется, что «афганский синдром» как бы главным фоном проходит в балабановском триллере «Груз 200». И что само это кино режиссер сделал антивоенным памфлетом. Возвысил голос, понизив ракурс. Но увы – памфлета не получилось. Из негодного материала ничего хорошего и не могло выйти.

Безумно тягучие кадры психотипии мента-маньяка... изнасилование девчонки, прикованной к койке, на которой лежит труп ее жениха, убитого в Афганистане и присланного «грузом 200»... А потом и другой персонаж в исполнении актера Серебрякова пытается насиловать бутылкой изпод шампанского...

Сочинено как бы и с аллюзией в сторону фолкнеровского «Святылища». Очень многие детали и ходы Леша «импортировал» оттуда – вот разве что там, кажется, насилуют кукурузным початком... Если что, всегда можно сказать: да – слямзил из-за океана, так американский классик описывал поганую действительность... теперь уже и не американскую... Но тем и «отмазаться» можно: *Заметьте, не сам я это выдумал! Не Балабанов породил этих монстров – было до меня...*

Мой вердикт совпадет с мнением большинства «непродвинутых» кинозрителей в нашей многострадальной ойку-

мене: такие «вершины» в кинематографе могли покориться только Балабанову. Не стоит исключать, что это был и явный парафраз-алаверды с темы его учителя Германа в жестко антисоветском и антирусском кино «Хрусталеv, в машину». Там мастер черно-белого кино с упоением обрывает все реплики персонажей до полного безумия и воспроизводит такое же действие, как и у Балабанова, – только другим предметом... Балабанов словно бы даже предлагает повторно свои творчески удвоенные извинения мэтру, поначалу усмотревшему в его «Брате» признаки антисемитизма и обидевшемуся на ученика.

Балабанов говорил потом, что в «Грузе» он имел в виду не политику, но ощущение времени, в котором жил. Что ему очень важно было сделать кино о конце Советского Союза. Отступлю на шагок от темы – она большая и мутная, пусть отстоится пока, никуда не денется, еще вернусь...

Те, кто сегодня монтирует образ Алексея Балабанова с образом борца за правду, за интересы трудового класса и за социальное равенство, если не лжет сознательно, то ошибается. Он был далек и от тоски по исторической России (*которую мы потеряли*), тем более от царебожия, i.e. ни минуты не тосковал по России дореволюционной (свидетельством чему как минимум «Морфий»). Но уж антисоветчиком стал и по убеждению, и по надобности высокой цензуры. Цену позе он знал и умел подстроиться под нужды времени, а под соцзаказ сформировалась подспудно еще и нравственная пози-

ция. Известно, что где-то за год до смерти, побывав в Тбилиси, загорелся даже идеей снять кино о молодом Сталине – налетчике и экспроприаторе. Можно не сомневаться, что вышли бы вторые «Жмурки», искусства бы не случилось – но кураторов постсоветской культмысли это бы нисколько не огорчило. Ему бы и с Прилепиным, многожды разоблаченным как писатель, подсказали что-нибудь замутить – только уже по Донбассу.

Когда мы прощались в тот жаркий день во вгиковской общаге, Леша то ли в простоте, то ли снисходительно этак заметил – с тогдашним фирменным своим кивком или откидом головы: «Пиджачок у тебя хороший». На мне был ничем не примечательный пиджачишко в клетку, чуть коротковатый в рукавах. Уже постфактум я подумал, что это была легкая подначка – по поводу того, что я почти не участвовал в их с Андреем беседе и отделивался малозначительными репликами. Или, может, это учителя кино ставили ему творческие задания – исследовать фактуру предметов для кадра. Вот он и упражнялся на том, что придется.

Думаю, к этому времени уже случилось его знакомство на курсах с Сергеем Сельяновым, определившее ту часть его творчества, не считая которую созидательной и ценностно важной, я все же нахожу ее не столь чудовищно энтропийной и депрессивной, чем та, что была исполнена в полном погружении в себя, в метафизическую самость ущербного духа, и

вполне заслуживает названия «плохое кино режиссера Балабанова».

Сельянов (кажется, по версии критика Трофименкова – «кержак с внешностью медведя-красавца») стоял за всеми его фильмами (как за фильмами его, за их успехом на фестивалях, стояла тень его влиятельной любящей матери), но почему-то упорно хочется погрузиться в иллюзию, что «созидательная» часть его творчества была продюсеру его и другу Сельянову ближе, чем «энтропийная». Кажется, у режиссера документального кино Завильгельского был такой перифраз: *Важнейшим из искусств для нас является искусство добыть деньги для кино*. Смешно – но, видимо, верно, и Сельянов стал неплохим искусником в своем деле, а потом и маркет-мейкером нового русского кино. И, думается, будущий продюсер не мог не сознавать, что родительское гнездо Балабановых в столице Урала осенил своим крылом гений общения. Об этом, впрочем, можно еще сказать...

Или даже назвать – «очень плохое кино режиссера Балабанова»... Мудрено закручено? Возможно. Только бывает, когда о внешне как бы и не очень замысловатом, но все же претенциозно «тонком», просто не напишешь. В его киномире простота и лубковость часто не самоценна и выглядит магическим инструментом, эстетическим методом, а опрошенный балабановский формализм становится уже «вещью в себе», больше целью, чем средством.

Вот и все. В то время, когда Алексей (усилиями папы два-

жды катапультированный во ВГИК: в первый раз сразу после службы, тогда его быстро выставили за какие-то непонятки с «преподом», тот раскритиковал его опус в форме рассказа, а второй раз – уже на высшие курсы) начинал свое творческое становление, наша с ним дружба скисла то ли в укус, то ли в плесень, как старое самодельное вино. Дальше она окончательно поросла сорняком, а со временем (с выбросом на экраны «плохого кино режиссера Балабанова», иначе – его «эксгибиций в танатологии») и вообще превратилась в заброшенный и сильно замусоренный пустырь, куда и навещаться-то не хотелось.

Это не значит, что я на нем не появлялся, на этом пустыре. Заходил. И даже подумывал восстановить все до приемлемого природой состояния. Но уж слишком много усилий нужно было приложить для его расчистки. Да и расчистишь – а его снова завалят мусором. Какой смысл?

И все же случается иной раз пошататься по нему таким «сталкером». Но вовсе не для того чтобы познать сущности гуманизма и сверхразума, как у Тарковского, а просто чтобы подсказать потом окружающим – где там ямы, где битое стекло, ржавые железки теперь торчат... следы испражнений или трупы псов безпризорных... Ведь есть немалое число желающих истолковать пространство его творений как истинно прорывное и недостижаемо нравственное. Ну, а мне представляется, что в этом деле без поправок не обойтись.

Война

Нет, все же был еще случай лет через двенадцать... Не вспомню, как я пробрался в Министерство культуры на Малом Гнездниковском – на премьерный показ его фильма «Война». Помнится, там оно и было. Проклятье Чеченской войны клеймом отпечаталось на всей российской демократии – будь она «суверенной» или какой-либо иной. Если честно, после 1993-го ее вообще никакой не стало, когда абсолютное большинство отжали от власти и от собственности. И Чеченская война была прологом ее исчезновения – во имя спасения правящего клана. Сооруженная лейб-вещанием кукла патриотизма тогда впервые раздула свои грозные ноздри и еще долго сморкалась красными соплями в сторону предгорий.

Пройдя ко времени выхода этого фильма (2002 год) десятилетний путь в протестной журналистике и понимая, какую прикладную задачу это страшное кровопролитие исполнило под заказ, я захотел из первых уст узнать, какую правду о войне скажет режиссер нового кино, с которым я когда-то приятельствовал. А вдруг и скажет? В 90-е он стал появляться на экранах ТВ в конце новостных программ, то получая «Ники», то просто дефилируя по «Кинотаврам».

Он уже сделал себе имя, но смотрелся, как мне показалось, как-то неуверенно. Я ошибался – и то, что я принял

за неуверенность, на самом деле было депрессией, нагрянувшей от пережитых им бед. Он казнил себя за гибель якутянки Туйары Свинобоевой, которую снимал в своем «антиколониальном памфлете» «Река» по мотивам ссыльного поляка Сорошевского. И за ту подсказку Бодрову – ехать в Кармадон...

И еще впечатление о неуверенности лешинной в его статусе популярного режиссера сообщала почему-то память вот о каком обстоятельстве... Хорошо очень помню, как Никита Михалков говорил тогда, в середине проклятого десятилетия, в одном из интервью не без иронии: «Ну, вот есть этот мальчик...» Или без иронии, но со скепсисом. Не выдумываю, у меня глаза тогда на лоб полезли: это ж надо... ни за что почти оскорбить, по внешнему впечатлению... А может, и не по внешнему? Сущностно не сошлись? Ему ведь виднее, он художник большущего стиля, кинематографист от бога.

Почему Михалков прокомментировал тогда свой взгляд на Алексея Балабанова этим обидным словом? Да был ли повод? Скорее всего, на тот момент он и не мог разглядеть в нем сколь-либо серьезного потенциала. Сам-то он всей своей несокрушимой мощью натуры жизнь ощущал и кино снимал – а тут какие-то «Дни... не самые счастливые...», какой-то Кафка перепуганный. То ли мнительность у паренька природная, то ли вообще речь о болезни духа... Не знать об этом Леша не мог. И понимал – или Сельянов ему подсказал, что этот удар нанесен не врагом, а потенциальным со-

юзником. При этом очень мощным и влиятельным. Что он вообще случайный, этот удар, и надо что-то предпринять по возможности, чтобы поправить дело. Думаю, Балабанов долго держал это в голове, не забывал, и в приглашении мэтра на роль бандита-скомороха в «Жмурках» через десяток лет была и эта составляющая.

Когда я в 90-е пытался смотреть балабановское кино, сделанное до «Брата», я понимал, что это не мое кино. Леша еще только утверждал себя в маргинализме формы, погружаясь сам и погружая зрителя в холодные воды испуга перед жизнью, в метафизику слабого и энтропии как заметной части пространства жизни – и во многом еще оставляя лакуны нормальности. Я думал – баловство, ему просто ученически интересна эта поза *enfin terrible*. Я же знаю его, чудика, – потом, когда он утвердится и наживет себе имя в кино, вся эта шелуха с него слетит, он образумится.

А не от болезни ли той все это в нем? Да нет же, вон и Достоевский страдал эпилепсией, даже специальный дневник имел, где описал свои сто два припадков. И разве оно помещало ему стать великим истинно русским писателем?

Не принимая его кино, я все же следовал заповедям проповедника: да – я не приемлю, но попробую понять, к тому же у тебя есть право, Балабанов, пожалуйста... Впрочем, еще и догадывался, что есть и сторонние силы, заинтересованные в поощрении и продвижении такого характерно эстетского декаданса в кино. В том, что это был декаданс, сомнений не бы-

ло. Сверхшается массированная декультурация, кто-то мстительно переформатирует культурный код народа, и у врага рода человеческого по-прежнему есть в стране работа. О каком-то особого рода покровительстве я тогда не предполагал.

Да – это все балабановское, это в его духе. Вот он, говорили мне друзья, и к Валере Зусману на консультации по Кафке в Нижний гонял – для «Замка» своего. Зусман выпускался со мной (в 1980-м) на немецком отделении переводческого факультета и остался преподавать в нашем институте. Давно уже профессор, редкий грамотей в германской филологии.

Раз или два в 90-х я пытался досмотреть то лехино (до «Брата» или рядом с ним по времени) кино до конца – и не получалось, не было там для меня, зауропода ископаемого, откровения, не видел. Уж простите незрячего. Болезнь – была, и я видел ее следы. Зримы были и его пристрастия, еще студенческие. В отдельных его опусах ядерный полураспад осязался в каждом кадре, а вот благих и судьбоносных истин не обнаруживалось. Претенциоз и стиль, убеждал я себя, – на всю катушку, сакральное косноязычие – пожалуйста, но в общем очень многое в своей постановочной спонтанности коряво и ходульно, рвано, образы картонные... Да – это уже стиль, и кинознайки, и всякие прочие истероиды льют слезы восторга, голоса вовсю, что это такой киноязык удивительный. Так и что?

Потом уже, когда я научился досматривать его кино до

конца, когда почти все мне уже было понятно в его кино, я ужаснулся тому, что понятно-то было только потому, что я его знал. А как он может быть понят «в адеквате» другими, не знавшими его? А главное, понимал-то я его иначе, чем его истолковывали.

Но по большому счету не был строг – и не чурался гордости за Леху в корпорации инязовцев, его знакомцев. Ее природа мне была понятна: ведь большинству из нас, пусть и не без честолюбия, эти высоты казались недостижимыми. И нам, провинциалам, льстило, что мы запросто и на равных якшались с будущим кумиром поколений, с общественно значимой личностью, совершавшей дерзкие прорывы в неизведанное в человеке...

Протяни лишь руку к старой фотке – и вот он, Леха Балабанов, не гордец и не отшельник, не «эксклюзив» какой-нибудь с роскошной громкой фамилией, а такой, как все. И нет никакой пропасти между его известностью и нашим бесславием – и он всегда будет рад, если позвонить... Возможно... Скорее всего... Да мы и сами б так могли, если б захотели, просто не посчитали нужным растрачивать себя на школярство в творчестве... Мы, нижегородцы, простаки и демократы по рождению, а равно и примкнувшие, скорее поверим, что не поняли его нового замысла, чем в то, что он от нас отдалился, что теперь он нам чужой... Что нишу такую себе придумал, чтобы спрятаться в нее, как его беккетовский Сухоруков в «Счастливых днях»...

Хотя чего уж не понять-то, ведь мораль у него ясная: он против несвобод любого рода... Он за гуманизм, за добро в человеке – пусть и с большого перепугу, вроде как с бо-дуна... Говорят, творческий метод такой... Да мы его знаем – по-любому гуманист. Да и стал бы другой кто Кафку снимать?

Так и во мне еще были живы отголоски доверия к Алексею Балабанову, а тема той грязной войны на Кавказе настолько волновала меня как публициста, что, не думая долго, поспешил на премьерный показ его фильма «Война». Ведь и весь левый фронт в СМИ встретил те первые события в Чечне в 1994–1995-м как вторжение. И первые публикации, скажем, в «Советской России» были именно об этом. Представьте себе. А я и оставался леваком, и в прохановских газетах выступал, и в «Советской России» печатался – и даже поработал, хотя бы и недолго – изгнали за малую попытку независимого суждения. И тройка генералов с героем Афгана Грозовым во главе отказалась лезть в республику тогда. Отказали Ельцину и Паше Мерседесу.

И война та пригодились, как всякая вороватая диктатура держит для себя подобные заготовки на случай предотвращения полной утраты контроля. Об этом еще у Платона в «Государстве» хорошо сказано. Неслучайно ее запустили почти сразу после расстрела парламента.

Ни грана истинного патриотизма у Ельцина за душой не было. (Тоже, думал я, свердловчанина, с кем, несомненно,

в семье Балабановых были лично знакомы. И отец вес имел в творческой среде городской, и мать Инга Александровна, доктор наук, депутат съезда КПСС, командовала крупной медструктурой. Думал – и не знал, что тут все куда значимей было-то...) А вот запойный фейковый был, его стране и навязали. Мнимо независимый и самостоятельный, Беспалый был марионеткой в руках окружения, короля делала свита. Сменивший его преемник стал оперативно разбираться с «семи-банкирщиной» и на какое-то время утвердил русских людей во мнении, что демократия как народное самоуправление, а не фиговый листок на срамном месте у тирана, в России все же возможна. Искусства тоже должны рубануть свою правду о трагедиях преступного десятилетия, и кино – главнейшую.

Кажется, сунул под нос билетершам какую-то журналистскую свою «ксиву» – сработало. Кино «Война» смотрел с упоением – пусть и с угасающим. Леха рассказывал свою полупридуманную историю с похищенными англичанами, пугал зрителя ужасами войны, показывая, как русским пленным режут горло, снимал снизу марсов грохот вертолетного ротора и даже представил другую правду устами главаря боевиков... Показалось – с подспудной ссылкой и на лермонтовского «Исмаил-бея»: *Он пленников дрожащих приводил, И уверял их в дружбе, и шутил, И головы рубил им для забавы...*

А я, уже критично, если не сказать ревниво, ждал всей правды от него. Хотя уже и знал, что он мастер скорого кино,

ему интересней простой рассказ и крупный план. И на большие формы, требующие сверхусилий и времени, объемных ракурсов, могучих планов и вместе тщательной выверенности и шлифовки, никогда не растрачивается.

Да почему же и нет, если знаешь, что всего все равно не охватить? Но впечатление осталось – и в целом довольно позитивное. И герой Чадова был правдив. В «кине» этом (так и Балабанов молодой любил это слово склонять), как мне показалось тогда, не было никакого идейного провластного посыла, никакого ура-патриотизма, что само по себе было хорошо. Там не было ничего от заводных кукол останкинского агитпропа, и слава богу.

Спустя много лет, посмотрев фильм повторно, понял, что все же было. Хватало и этого, хоть и подавалось оно не в лоб. Многие ходы и кадры замешивались на мести. Как не знать было Лешке, что это основа драмы, особенно в кино. «Антиколониального», как в «Реке», с пиететом к малым народам, уже не было. Объективно Чечня предстала жестокой и даже трусоватой. Все же в подсознание с экрана проецировался эмоциональный заряд, близкий к нашему нынешнему, к «имперскому номер пять», если по Проханову... даже с экивоками в сторону сомнительной нашей судебной системы...

Я подошел к нему, когда он уже выговорился на камеры и диктофоны и собирался уходить. Он опирался на клюшку, о случившейся на Севере беде на съемках «Реки» я не знал. Кто-то из знакомых незадолго до этого рассказывал,

что Балабанов будто бы с Мазуром куда-то гнали в машине Кирилла и перевернулись. Испорченный телефон, все пере-
врали. Вряд ли такое могло случиться с ним повторно, но
именно этому я тогда и приписал его хромоту. А еще умуд-
рился накрутить на впечатление от встречи элемент комиз-
ма. Вот идиоты – напились, поди, старые дружки и полома-
лись в кювете.

Хотел ли я восстановить отношения? Не уверен. Мое
прежнее знакомство с ним нисколько не льстило – да и ста-
туса «культового» в массах он еще не обрел, только подсту-
пался к нему. Мне просто захотелось посмотреть на него – в
чем изменился, какой он теперь... Если не считать интереса
к его кино про ту войну несправедную, с генералами граче-
выми и эмилями паиными как советниками по этническим
вопросам. Войну, что пробудила демонизм, какого Россия
давно уже не помнила.

И еще я взял неверный тон. Словно пытаюсь сделать вид,
что наши с ним отношения не прерывались, что у нас все
так же приятельски запросто, как и в студенческое время. А
старые огорчения не в счет.

Воспроизводить тот недолгий диалог в прямой речи не бу-
ду. Это не было беседой старых друзей. Как он не был го-
тов обрадоваться нашей встрече, так и я – обидеться в ответ.
Боюсь ошибиться в словах, тем паче память у меня вполне
рядовая. Я похвалил его фильм «Война», ничего не сказав о
других. Он слабо поинтересовался, чем я занят. Рядом стоял

круглощекий дядечка с глазами навывкате, то ли солидный с виду, то ли просто выкачены от грузности. Он что-то предлагал Балабанову. (Я вклинился в их разговор, пообещав, что отвлеку лишь на минутку. Дядечка бы мне не уступил – но глаза у Лехи на секунду тогда оживились, он улыбнулся мне краешками рта, и дядечка чуть отступил.) Я сказал, что пишу в народно-патриотические СМИ, больше в левые, а кормлюсь чем придется. Еще два слова были обронены о друзьях – и все, побеседовали. Сунул в руку ему какую-то из своих книжек, простился.

Я уже давно не доверял его творчеству, его же недоверие ко мне граничило с равнодушием – и это недоверие как к потенциальному осквернителю имиджа авангардного режиссера новой России я, мне казалось, считал с краешков его губ. Ему эта власть дала хорошую путевку в жизнь (о том, что с самого верху, я еще не знал): он востребован, его творения нарасхват – все поменялось, – и экзистенциальными нытиками становятся уже такие, как я, а не он. Конечно же, за всем стоит его продюсер и единомышленник – но большей частью незримо, в тени.

Балабанов заметно изменился – подлысел и нарастил себе смешные щечки. Совсем как у грызуна – так трогательно. С киноведами и хроникерами, прибежавшими обсудить его новый опус, он – сама простота, на ты и не иначе. Они и называли его Лешей, как я когда-то. *Сила-то в правде... А раз так – то и в открытости, и в простоте...* Не знаю поче-

му – мне эта их свойскость не пришлась по душе, какой-то мнился тут междусобойчик, какой-то взаимопиар. Возможно, я ошибался в этой мысли.

Все же кажется – самой страшной, кармадонской, беды тогда еще не случилось. Она еще ждала своего часа. Но даже если и ошибусь в хронологии роковых событий в его жизни – к чему уточнять... Теперь все они уже давно случились, и я последний среди тех, кто мог их предвидеть или предотвратить.

Да, это была последняя встреча, и, вполне возможно, ему не очень приятная. Друзьями мы с ним перестали быть к тому времени уже более десятка лет. Или все же мне хотелось восстановить отношения – и тогда я вру, что не стремился встретиться с ним? Ей-богу, не припомню. Если бы помнил, что хотел восстановить, так бы и писал. Вот он я, хороший, а Балабанов звезданулся и зазнался на всю свою большую голову... Нет, конечно же: все было проще... просто мне однажды захотелось посмотреть на него, а тут и повод нашелся...

Меня упрекнут: *Ага, вот ты и зол на него, что дружбы-то не продолжилось! Вот и сочиняешь всякую дурь!* Не соглашусь. Просто я еще раз убедился, что мы во многом по-разному устроены и во многом по-разному отражаем в себе этот мир. Вот и все... Да мне и легче было бы не вспоминать об этом, чтобы избежать подобных упреков.

К этому времени у меня завершился очень важный жиз-

ненный этап. Я совершил «движение в народ», надуманный мной и намечтанный «исход в Сибирь», длившийся целое десятилетие. Это было зовом пространства и духа, побудившим меня бросить удобную и сытную столицу и податься за тридевять земель на восток в поисках личного счастья и... федерализма. А еще хотелось создать сибирскую газету для Москвы и московской читательской аудитории. Чтобы нести обезумевшим мегаполисам здоровое дыхание далеких провинций. Как же – вон и в Америках жители восточного побережья без проблем могут купить прессу с западного. Почему у нас-то все должно быть устроено пирамидой? И почему все эти наши столичные «комсомолки» и «МК» должны множить себя в регионах, а регионы – коснеть в информационном бесправии? Еще у Василия Белова его Африканыч сетовал: *у нас-то Москву хорошо слышать – вот бы и наш голос она услышала...* Да что там: еще у Хераскова в его «Россиаде» читаем: *Являлася Москва, воде подобна мутной...* До массового Интернета (или «трех Кассиопей», как назвал его однажды) было еще далеко.

За год до балабановского «Брата» я написал социально-производственный роман «Сволочи московские». Название мне одобрил Станислав Гагарин в 1993-м, большой мастер советского детектива, когда мы ехали в его издательском рывдване-рафике с матюжником Анпиловым, известным «трудороссом». Гагарин не смог пережить расстрела у Москвы-реки, его сердце остановилось в ноябре того же го-

да.

Три года спустя я сделал два больших материала в печати для Александра Сурикова, шедшего в губернаторы в Алтайском крае под знаменами борьбы за социальную справедливость, против хищничества правящего олигархата и новых временщиков. Корусть моя была проста – напроситься к нему в Алтайский край, чтобы воевать оттуда с неправдами продажных столиц, а заодно найти себе там сибирячку по душе.

Скажете – ненормальный? Сейчас уже соглашусь. Однажды, лет за десять до того, в молодежном лагере под Ивановом мне встретились две девятнадцатилетние омички. Обе беляночки, красавицы ясноглазые, студентки-второкурсницы, будущие стоматологи. Я буквально влюбился в обеих – по-братски опекал их, не подпускал никого, а выбора так и не сделал... В общем, «точка бифуркации» пройдена не была. Нерешительность моя, думаю, объяснялась еще и отсутствием своего жилья на ту пору, а поступать бездумно боялся. И когда вдруг что-то надумал через полгода и решил, что одна-то из них мне точно нужна, обе они неожиданно повыскакивали замуж.

Время шло – а сибирячек (иначе юных красавиц, что не держали бы в своем мозжечке слепка безмерного столичного человечника) вокруг не предвиделось. Так оно и запало в душу. Уже и угол свой появился, а московские фемины меня особо не вдохновляли. А где найдешь в Москве сибирячку?

Сейчас уже можно, конечно, кого только она к себе не сма-нила за эти годы, ну, а тогда... Как и я сам, должно быть, был куда менее интересен москвичкам, когда потерял пре-стижную работу международника и стал биться за правду, пытаться нести ее людям, которых Чубайс однажды назвал «вечно последними». Да ведь и праотцы наши литературные еще вон когда писали, что Москва голодная до невест. И ведь сказать кому теперь – не поверят в эту мою блажь с федера-лизмом и сибирячками, вот ведь идиотище...

В Алтайский край стал наезжать с начала 90-х, словно бы в поисках Беловодья. Пуповина московская оборвалась, и мысль уехать понемногу облекалась плотью. Так я и напро-сился в сибирское черноземье спасти несчастных жителей окраин от обмана и декультурации, а заодно и от привычно-го москвофильства. Разглядел ли там кто во мне спасителя? Не уверен. Но тогда процессы федерализации как ответа на гибельный ельцинизм уже шли полным ходом, и люди в ре-гионах уже выучивались понимать свои кровные интересы.

Ничего страшного, – адресовался я мысленно к контроли-рующим всех нас «глубинным инстанциям», – только граж-данские свободы и могут нас защитить, они и делают нас людьми. Ну, а там, где не только русаки живут и где может потаенно вырваться сепаратизм, «недреманное око», само со-бой, должно присутствовать. Все же просто на самом деле. Отследить деструкцию ему, этому оку, несложно, при усло-вии, что не поражено катарактой. И тут уже главная задача

демократии в том, чтобы не дать ему превратиться в инструмент запугивания в потных ручках центральной необуржуазной тирании. Сепаратизм может быть и реальной угрозой, но чаще пугалом в руках господ патриотов с большими банковскими счетами.

Да – я был редким идеалистом в ту пору, но и не стыжусь этого. Если по гамбургскому счету рядить, то ничего в общем не вышло. Чтобы что-то серьезно поменять, должна быть критическая масса таких же, как ты, идеалистов. А раз уж их нет, и все идет к тому, что их все меньше, и основная масса двуногих думает о выживании, а вовсе не о том, что «мир красотой спасется», а тем временем режим консервирует себя репрессиями, то стало быть – так оно и есть, а не иначе...

Потом я с новым опытом вернулся в Москву – но Западную Сибирь по-прежнему держал в своей душе. Да и она меня не отпускала. Суммируя сказанное о себе в двух словах: пока одни стремились в Москву, или в Питер *на крайняк*, завоевать их и добиться личного успеха, я совершил обратное движение. И при этом потерял в ненавистной Москве те немногие связи, которых и без того кот наплакал. Никаких разочарований: это мой опыт, мое богатство. В таком примерно отформатированном виде я и предстал тогда перед Алексеем. Повторю – той страшной беды в Кармадоне со съемочной группой Сергея Бодрова вроде бы еще не случилось. Но уже случилась первая трагедия – с якутянкой Туй-

арой Свинобоевой, как предвестница большей...

В новом миллениуме

Пока он был жив, пока мастерил себе кунсткамеру, свой артхаус, чтобы там в нем бальзамировать эпоху и лепить с нее посмертные маски, пока мелькал на киноподиумах, брал призы и расточал харизму праведника, никаких сожалений в его адрес у меня не было. Жалко стало сейчас, когда прошли многие годы с того дня, когда он угас. Ведь он, было очень похоже, покался за то, что слишком долго и с исследовательским восторгом заглядывал в глаза энтропии и смерти самой. Словно стремясь постичь самое ее метафизику, непостижимую, неоткрываемую. На смерть, как и на солнце, смотреть открыто нельзя. Потом он искал возможности оправдаться, искал спасения. Впрочем, обратный ход его саморазрушению задать уже было невозможно.

Мне 2013-й запомнился тремя событиями – его уходом из жизни, моим интервью с 90-летним академиком Игорем Шафаревичем и началом второго киевского майдана. То интервью я взял, еще раз напомним, за день до лешиной смерти. В начале лета я дал статью о нем в «Литературной газете» у Юрия Полякова, на страницах которой появлялся как автор довольно часто. (Полсотни публикаций к тому времени, любая из которых могла пройти в изданиях, где еще чтили принцип социальной справедливости и не боялись властной остротки. Хотя от многих моих трибун чья-то незримая ру-

ка меня уже умело отвадила, вернее сказать – отстранила.) Статья и называлась «ЛЕХИН ГРУЗ».

Я надавал ему под зад – без всякого стеснения, словно живому. Во многом повторив то, что опубликовал в «Литературной России» в году 2007-м. Да мне и не верилось, что он уже неживой. Уж этот мистификатор должен был как-нибудь отбиться от костлявой, он ведь из тех, кто обязательно отбрешется от нее. Потом и пожалел было вослед – что же это, едва три месяца минуло, а ты и полез наводить тень на плетень.

Если честно, больше хотелось света, и все же просто на самом деле: где свет, там и тень. Если бы Леха не снял своего «совсем плохого кино», своего «Груза 200» и «Морфия»... Особенно «Груза». Мастеров большого плевка в прошлое у нас и без того с избытком, он же решился не просто бритвой посечь самую связующую ткань времен, но и вспороть и вытащить наружу дымящиеся потроха истории, эксгумировать непоказуемое.

Спустя годы после его смерти что-то поменялось в оценках, и сам я ушел от резких однозначностей, которые несколько не были желанием пнуть мертвого льва, как могло показаться иным, а больше криком искренней жалости: *Возвращайся к чертовой матери оттуда, Леха... проживи долгую жизнь – услышь меня, поспорим...* И все же вот она, эта статья, с подназванием *Грустные раздумья у колокольни счастья Алексея Балабанова*. (Кто-то из старых друзей,

считая, что все творчество нашего общего друга, достигшего известности и ступившего в вечность, несло в себе большой заряд гуманизма, осудил меня за эту статью. Впрочем, есть в их числе и такие, кажется, что и Ельцина, имя которого, на мой взгляд, и служило режиссеру главной незримой эгидой, до сих пор считают эпохой возможностей.)

И все же вот она, эта статья... приведу ее в сокращении, в том виде, в каком она вышла когда-то в «ЛГ»:

De mortuis aut bene aut nihil (Об умерших либо хорошо, либо ничего) – и это правильно. Но я и не собираюсь злословить, и у меня невесело на сердце. Только сроки уже прошли – и девять дней, и сорок...

Теперь имя Алексея Балабанова твердо встроено в парадигму отрицаний прежних эпох, и многие из его творений откровенным образом нацелены на разрушение, на прерывание исторического сознания этноса. Ни сляпанное режиссером в «Грузе 200» произведением искусства не назовешь, ни спрятанную за ним идею не скроешь. Задача ставилась одна: привить тому, кто не имеет собственных воспоминаний о советском прошлом, иначе – поколению двадцатилетних, слепой метафизический испуг перед ним.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.